


ЕКАТЕРИНА ЗВОНЦОВА



БЕРЕГ  
МЕРТВЫХ  
НЕЗАБУДОК

ПОЛЫНЬ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Екатерина Звонцова  
**Берег мертвых незабудок**

ИД "КомпасГид"

2023

УДК 821.161.1-312.9-93  
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

**Звонцова Е.**

Берег мертвых незабудок / Е. Звонцова — ИД "КомпасГид",  
2023

ISBN 978-5-00083-861-7

Время, когда Тьма обернется Светом, а Свет – Тьмой. Эта история о гниющем заживо короле, вынужденном нести бремя власти ради сохранения шаткого мира. О его благородном враге, обреченном на путь мести. О гении, расписавшем фресками храм Смерти, и его ученике, чье сердце отравлено завистью к таланту своего учителя. Эти герои поведают о закате Цивилизации Общего Берега – древней жемчужины Двух Морей. Как вспыхнувший религиозный конфликт мгновенно разгорелся пожаром войны по всему континенту. Теперь для каждого, кто взял в руки оружие, настало время непростого выбора. Екатерина Звонцова – автор и редактор с десятилетним стажем. Ранее успешно издавалась под псевдонимом Эл Ригби. Екатерина умело создает многогранные миры, к которым никто не остается равнодушным. «Берег мертвых незабудок» – о том, что даже в темные времена можно отыскать свет, а на пепелище рано или поздно вновь вырастут цветы.

УДК 821.161.1-312.9-93

ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-00083-861-7

© Звонцова Е., 2023  
© ИД "КомпасГид", 2023

# Содержание

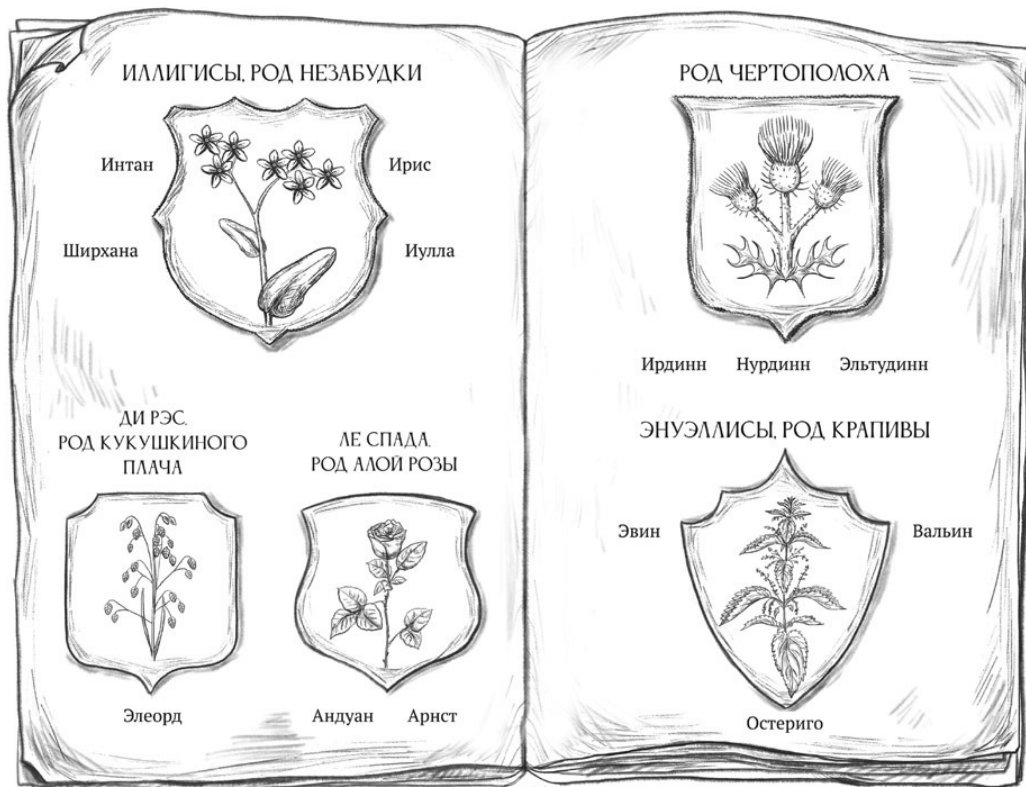
Пролог	8
Часть 1	12
Часть 2	21
1. Светлое время	21
2. Темное время	41
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Екатерина Звонцова

## Берег мертвых незабудок

© Екатерина Звонцова, текст, 2023

© ООО «ИД „Теория невероятности“», 2023





*Радуйтесь! Море утихло,  
Четверых миловал Шторм.  
Сорок других погибли  
Среди голодных волн.  
В церкви четыре счастливица  
Обнимут живых отцов,  
На отмели волны тихо  
Омоют тела мертвецов.*

*Тем, кто остались живы,  
В сказках наших сиять.  
О спящих в морских могилах  
Детям лучше не знать.  
Но дети вырастут скоро  
И в темные зимние дни  
Спросят однажды: «А сорок?  
За что же погибли они?»  
И правда застрянет в горле,  
И слезы сольются в шторм.  
Дети больше не спросят.  
Но ждет ответ среди волн.*

*Эмили Дикинсон*

**Пролог**  
**ВРЕМЯ ИСПОВЕДЕЙ**  
*Девятый прилив великого разлада*



Я обещаю убирать от себя хрупкие предметы как можно дальше. Я буду, всегда, ведь с меня станется разбить что угодно. Вазу. Окно. Мраморную статую. Сердце. Это мой уродливый талант с детства, хотя я долго жил, не зная о нем. Что ж, я наказан справедливо, я буду убирать их, буду – эти хрупкие предметы. И хрупких людей. Только выслушайте в последний раз, как когда-то. И пусть вас уже нет, а развалины, в которые превратился мир, – не место для исповедей.

Помните? Ваши волосы падали на плечи, вы носили золотистую сутану с оком, вышитым на спине черной гладью, а оба ваших глаза еще видели. Вы были почти ребенком, младше меня, но я боялся вас, как бури, и, как за гремучим грозовым воздухом, шел за облегчением в ваш величественный храм. Выслушайте. Услышьте, где бы вы ни были. Может, и вы скучаете по прошлому. Может, улыбаетесь, вспоминая маленькие горести и ошибки, о которых слушали дни напролет.

«Я украла ожерелье из ракушек у милой Лёйи, но верну, верну».

«Я засмотрелся на красавицу в окне рыбацкой таверны и чуть не задавил телегой кошку, а она, наверное, спешила кормить котят».

«Если бы только не воспитывать этих сорванцов, а купить корабль, нанять команду да и отправиться в странствия... простите, я плохой отец, но я стараюсь как могу».

Может, сейчас вам, как и мне, кажется: еще недавно мы жили очень хорошо и шли к тому, чтобы жить даже лучше. И вы задаетесь вопросом, что и почему мы сделали не так. Были ли это наш выбор? Почему если бы кто-то исповедовался вам снова, то сказал бы:

«Лёйя считает, что правда в войне – на стороне врага. Я донесла на нее».

«Я ударил дочь за то, что она отдала наше последнее молоко кошке в подвале».

«Я в море много дней, и команда моя – воры и убийцы, а берега все нет. Скоро я повешу последних из них, ведь нет больше сил видеть их померкшие глаза».

Темные времена – уже не для мелочных стенаний о людях, которых мы оттолкнули, надеждах, которые потеряли, и домах, откуда ушли. Темные времена – замок для маленькой боли, распахнутые ворота для большой. Темные времена укоризненно шепчут нам: «О чем ты печешься, пока все вокруг гибнет?» И я должен, наверное, говорить с вами об ином. О войне, которой в той или иной мере стал причиной, пусть не один. О чудовищах, которые отныне не дают спокойно ходить кораблям. О прекрасных лекарствах, механизмах и книгах, которых мы лишились из-за того, что их создатели отныне считают нас бешеным сбродом и строят дивный чистый мир в высоких высях, куда нам, израненным, больным и грязным, дорога закрыта. Но нет. Все это горе не только мое, и, может, поэтому оно грызет меня позорно мало. Но разве мы, люди, не такие существа? Личное, пропущенное сквозь сердце и просыпавшееся сквозь пальцы нам всегда ближе, с ним сложнее свыкнуться, чем с бедой, единой для всех. С горем мира я как-нибудь срастусь. Хотя раз за разом понимаю, насколько легче мне было бы, будь Мастер рядом. И насколько легче было бы нашему дому, откуда я его прогнал, ведь он как никто умел создавать. Учился все лучше, пока прочие учились разрушению.

И научились слишком хорошо.

А я ненавидел Мастера, ненавидел, помните? Так же беззаветно, как любил. Тосковал, превозносил, клял. Сейчас иногда и не понимаю: как во мне – еще ребенку – умещалось столько чувств к одному взрослому? Блеклому, сухощавому, будто обожженному светом разом всех звезд, хрупкому? Хрупкому... и непредсказуемому, как ветер или улыбка неба в ненастный день.

Мой свет, мой мрак. Проклятье... увидев смутную искру во мне, он не дал ей погаснуть. Но не сказал, никогда не говорил, что искра – еще не пламя, и долго я не мог услышать других его важных слов. Ненавижу, ненавижу. Но нет, давно не его, нет, теперь лишь себя. Я взял всё, что он щедро отдавал, а потом предал его и мучаюсь до сих пор, пусть он и сказал, что простил бы мне всё, всё что угодно. Может, это тоже прихоть темных времен. В темные времена мы вспоминаем все грехи и начинаем в них искать причины бед, через которые проходим. А я словно сам – беда.

У меня одна радость, и, я знаю, она также ваша: кончилась война, слышите, кончилась! Сегодня, в последний день Великого Разлада, темный уводит людей за море. Он все еще в скорби, в скорби по вам, и скорбь эта сильнее той, что по дому. Я никогда этого не понимал – вашего союза, странного союза двух врагов, так похожего на сплетение двух сорных трав на пустыре. Впрочем, не судите: где вы, где я. Вам, наверное, точно так же непонятна моя любящая ненависть, моя ненавидящая любовь. В главном наши сердца – я всегда чувствовал – ни капли не похожи. Пока мое было калейдоскопом острых многоцветных фрагментов, вечно собиравшихся в произвольном порядке, ваше сияло, как неприкосновенная розовая жемчужина в нежном перламутровом плену раковины.

Войны нет. Нет вас. Нет Мастера. А я зову прошлое снова, тщетно зову. Имена горчат на языке и пахнут краской, и крапивой, и морем, и пылью в витражном свете из арочных окон.

Они – эти имена – ласково и непреклонно возвращают меня к Общему Берегу, где все было светло и свято, где я все, все начал понимать. Тогда мир только-только покачнулся, большое сердце его пронзил первый нож. А я и не ощутил, потому что меня держали за руку и вели вперед, обещая: «Ты станешь великим, мой мальчик. Только улыбнись, миру нужнее всего они – улыбки. А прочее он всегда найдет и починит сам».

Не нашел. Не починил.

Сгущается туман. Корабли уходят, похожие на вереницу раненых дельфинов. Их красные кормовые фонари – вихрь светляков, напившихся крови и увязавшихся следом, чтобы пить еще и еще. Скоро уйдет прошлое, скоро я останусь один, а там, за морем, родится уже третий, но наверняка дивный мир, создатель которого будет шептать ваше имя в заупокойной молитве. А пока... мой король, мой бедный король, услышьте меня, как в детстве. Вы слышали много исповедей и наверняка забыли мои. Все бесконечные мальчишеские:

«Я украл сегодня краски с рынка, потому что я лучше тех, кому их купят».

«Я опять обозвал плохим словом – нет, десятком слов – городскую стражу за то, что не дали мне сорвать персик у графского замка».

«Я встретил Мастера. И... я хочу его убить».

А вот я помню вас вопреки тому, как вы были недосыгаемы. Все, что вы пережили. Вы мучились сильнее меня – и не потеряли свет, хотя понимали и тьму. Вы ни с кем не делились этими муками, кроме, может быть, того, кто черной ночью скитался еще недавно по вашим комнатам. Вы были почти как Мастер. Любили своих врагов, даже ничтожеств вроде того, кто, по слухам, убил вас. Не разрушали, не стонали о том, чего лишены, – создавали или пытались спасти.

И лишь во славу этого я остаюсь, чтобы отстроить ваши руины заново.

Они еще расцветут.



# Часть 1

## ФУНДАМЕНТ

### *Исток великого разлада*

*Все реки текут в море, но оно не переполняется: к месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.*

*Екклесиаст*

Ирдинн всегда знал, что это страшно – медленно погибать в глухом болоте. Когда-то он читал сказку об этом: как храбрая Принцесса отправилась вызволять из хрустального саркофага околдованную Мать, но на середине странствия, в Черном лесу, ее настигли враги – люди злого Советника – и, бросившись с ветвей деревьев, толкнули в трясину. Принцессу выручил верный Конь, которого враги не додумались убить. Он осторожно подошел к краю болота, наклонил голову и, когда Принцесса уцепилась за узды, вытащил ее на твердую землю. И, кажется, даже оказался в конце проклятым Принцем, за которого Принцесса счастливо вышла замуж.

Ирдинн тоже рассчитывал на своего коня – пока еще верил, что перепутал дорогу на карте и попал в топи случайно. Но как только он, испугавшись змеи и оступившись, начал вязнуть, коня, совсем как в сказке чудом оставшегося на твердых зеленых кочках, забрали, увели, мимоходом пожелав хозяину славного дня. Ирдинн только надеялся, что беднягу не убьют. На что еще ему было надеяться?

Вечернее небо наливалось знакомой лиловой темнотой. Болото пахло всем тем, что Ирдинн в детстве любил: ряской и сладкими ягодами, мхом и лягушками. Оно было теплым, как парное молоко в купальнях дома; оно, казалось, совсем не настаивало на том, чтобы Ирдинн умирал, не тянуло его слишком сильно и быстро ко дну. Но оно злилось. Злилось всякий раз, как Ирдинн, подстегнутый очередной вспышкой воли к жизни, дергался, начинал шарить вокруг, хватался за какие-то коряги и хвощи, тянулся к сутулым кипарисам, опутанным хлипкими, рвущимися в руках лозами. Тут же оно напоминало: «Не уйдешь!» – и смыкалось плотнее, а ноги глубже уходили в илистую рыхлую тяжесть. Ряска, похожая на россыпь мелких зеленых монет, уже плескалась над ключицами. Голову все чаще приходилось задираť.

Ирдинн смежил веки, переводя дух. Лес заполнял тишину птичьими голосами, треском и скрипом ветвей, смутным дробным перестуком. А вот шаги и голоса утихли, утихло испуганное ржание коня. Не пожалеют. Все решено. А он, дурак, и вообразить не мог такой подлости, хотя стоило бы лучше слушать старшего брата – единственного из них троих, кто подверг себя позору, но не покинул сераль ради пустых поисков.

Пустых... Не открывая глаз, Ирдинн сипло, горько засмеялся, а болото в ответ тихонько заколыхалось. Конечно, пустых, отец был обречен. Его в первый же день странной внезапной болезни так рвало черной желчью, конечности его так высохли, а кожа так натянулась, что Ирдинн понимал: это никакой не спонтанный мор неясной природы, никакое не проклятье свыше, никакое не испытание, посланное богами всем любящим его. Это яд. Обычный яд, подлитый верной рукой в питье или прыснутый на подушку. Но дядя был так перепуган, так красноречив, так огорчен, что они – сыновья, двое из троих, младший и средний, – поверили. Поверили и вспыхнули надеждой, услышав: «Если будете скакать достаточно быстро, вы, скорее всего, сумеете его спасти, я видел такой недуг». Они взяли коней. Они отказались от спутников, чтобы ничто не замедляло в пути. Они уговорились: средний отыщет священного оленя богини природы Вирры-Варры, подберет его сброшенные рога и истолчет в целебный порошок. Ну а младший найдет и сорвет голубой малины, она должна расти прямо здесь, в чаще на даль-

ней границе, в краю, где, по легендам, любит бывать сама светлая богоматерь Парьяла. Старшего тоже упрашивали присоединиться к поиску – отправиться за пределы графства Кипящей Долины, в земли верховного короля, где бьет живительный водопад бога справедливости Дараккара... Но старший не поехал. Мрачно усмехаясь, он сказал: «Светлые боги не помогут тем, кто все больше почитает темных». В глазах же его читалось другое: «Все бесполезно». Тогда Ирдинн, рассерженный и расстроенный, в ответ наговорил немало злых слов. Сейчас он очень сожалел об этом.

Если бы попросить прощения, если бы снова обнять брата и забыть все, как кошмар...

Он открыл глаза и увидел особенно низкую, кажущуюся надежной и плотной ветку болотного кипариса. Она, похоже, склонилась так близко лишь сейчас. Она напоминала протянутую руку, хотя, конечно, ничем таким не была – просто вода постоянно вымывала кипарисам землю под корнями, из-за этого они словно ерзали в своих топях: меняли положение, гнулись, наклоняли и поднимали искривленные ветви. Ирдинн сжал зубы, прислушался к ноющим ногам – и все же решился, прыгнул, с силой вытолкнув себя из ила, попытался сомкнуть пальцы на шершавых гибких побегах. Ветка сломалась с гнилым хрустом, осталась в руках. Разозленное болото заколыхалось сильнее, плеснуло в рот и нос зацветшей водой, потянуло глубже. Ирдинн увяз по середину подбородка, судорожно закашлялся. С трудом удержал хотя бы равновесие, вытер мокрое лицо, дрожащими пальцами отвел за уши волосы, в которых, как у себя дома, ползали уже какие-то насекомые... снова закрыл глаза и тихо, отчаянно застонал.

В мысли вернулся старший брат – но злости больше не было, ни тени. Лишь горечь: почему не слушал, почему, ведь тот пытался отговорить? Вразумлял обоих братьев, но Ирдинна – особенно, до крика и угрозы запереть в тюрьме. Они очень любили друг друга, любили с детства, когда Ирдинн, до смерти боявшийся змей, крокодилов, гигантских комаров и прочих привычных обитателей джунглей, даже из дворца почти не выходил после сумерек. Крокодилами Ирдинна обожал пугать средний брат: в подробностях рассказывал, как они тихо лежат на дне рек и болот, поджидая, пока кто-то приблизится, как выпрыгивают с разинутой пастью, откусывают голову, а потом тащат за собой остальное тело. Как с удовольствием выедают сначала мягкие сочные внутренности возле живота, потом обглаживают ребра, потом отгрызают пальцы рук и ног. Ирдинн сжимался в комок, под бодрый смех убегал, находил в библиотеке или за какими-нибудь делами старшего брата и, схватив за руку, начинал выпрашивать, все ли правда. Тот обычно смеялся. Они садились в беседке в саду, Ирдинн утыкался брату в грудь, крепко обняв его за пояс, и слушал новые рассказы о крокодилах только так. В этих версиях они казались безобиднее.

Ну, по крайней мере, предпочитали есть животных, а не людей; если на последних и нападали, то головы не откусывали; случалось даже, что из поединков люди выходили победителями. «Если хочешь, – сказал однажды старший брат, – когда ты подрастешь еще немного, мы тоже отправимся на одно из болот и убьем крокодила. Ты увидишь, это не так сложно, и перестанешь бояться. А еще у них, говорят, вкусное мясо, наши подданные, которые живут ближе к болотам, каждую сэлту<sup>1</sup> едят его на ужин».

Ничего так и не сбылось: Ирдинн вырос, но стало не до крокодилов. Нет ли их здесь?!

Ирдинн подумал об этом, но испугался скорее того, что не почувствовал страха. Пусть так... пусть тогда скорее сожрут, ведь медленно вязнуть, будучи не в силах выбраться, – куда мучительнее. Вода подобралась к губам. Голову пришлось задрать, но в таком положении удалось глотнуть лишь совсем немного теплого затхлого воздуха. Ирдинн снова зажмурился. Как там отец? Когда уезжали, дышал так же тяжело, хрипло, а дядя сидел над ним и сам промокал с лица пот, подавал воду со льдом. Старший брат был там же – стоял у окна, скрестив руки на груди, и наблюдал. Наблюдал мрачно, одним взглядом говоря опять: «Все бессмысленно».

---

<sup>1</sup> Сэлта – неделя в мире Двух Морей. Длится 6 дней.

Почему все-таки он сразу это понял? Почему не поехал за водой? Хотя он такой умный... такой... такой пронцательный, хитрый. Не решил ли он, что так проще будет занять трон?

Это ведь нерешенный вопрос: пока в некоторых графских семьях корону неоспоримо наследует старший ребенок, в других выбирают самого достойного, независимо от прожитых кругов<sup>2</sup>. В Кипящей Долине именно так: все трое сыновей могут претендовать на престол. Могли... ведь Ирдинна больше не будет. И среднего брата его, похоже, нет, ведь у одного из людей, которые уводили коня, висел на поясе знакомый меч с украшенной изумрудами рукоятью в виде крокодильей головы. Чьи то были люди? Все одинаковые: чернокожие, златоглазые, крепкие нуц. Молчаливые, отчужденные, хорошо одетые, без капли сочувствия во взглядах. Чьи, чьи? Неужели...

– Ты нас предал? – шепнул Ирдинн в пустоту, и ярость в очередной раз заставила дернуться, теперь в сторону густых зарослей осоки. Если добраться до них, если вцепиться, если вдруг за ними, например, спрячется какое-нибудь гнилое бревно.

Ноги подогнулись, болото разозлилось сильнее, зачавкало, заколыхалось. Теперь, чтобы дышать и не глотать воду, голову вообще нельзя было опускать.

Нет, нет... старший не мог. Не мог, потому что они еще не убили крокодила, не мог, потому что слишком любил отца. Дядю, правда, не любил, но то был единственный человек, с которым ему не удавалось подружиться. Исключение, связанное, скорее всего, с дядиной развращенностью: тот менял фаворитов и фавориток, как салфетки за едой, лишь недавно наконец женился, но гулять продолжил. Старший брат в этом смысле отличался щепетильностью. У него самого, несмотря на красоту, стать, властность и доброе сердце, было за всю жизнь, наверное, две-три пары. Он сам так это называл – «пары». Ирдинну, когда он слушал о парах, не раз казалось, будто брат пытается что-то до него донести, что-то важное. Мысль вроде.

«Пару нужно находить раз и на всю жизнь».

А он, Ирдинн, так и не нашел. Или?...

Он вспомнил вдруг Адйнну, дочь одного из отцовских медиков. Они никогда особенно не общались, Ирдинн разве что любовался ею издали, когда она возилась в саду, ухаживая за лекарственным палисадником. Там росло все такое пахучее, странное, но куда более нужное, чем красивые цветы: мята и лаванда, расторопша и ревен, молодые ивы с целебной корой и шиповник. Эти растения привезли из более прохладных краев, от духоты Кипящей Долины они страдали, но Адинна ворковала с ними, взбрызгивала листья водой в часы, когда прямой свет с неба не мог их обжечь, обрезала засохшие побеги. Заботливая, добрая Адинна. Она собрала Ирдинну в дорогу мешочек сушеных трав и посоветовала обрабатывать их отваром раны. «С чего ты решила, что меня в пути ранят?» – шутливо, мягко спросил тогда он, и Адинна вдруг покраснела. Не ответила, только сунула мешочек ему прямо в руки, выпалила: «Возвращайся живым», – и убежала.

Адинна... папа... дядя... любимый старший брат. Сад, дворец, купальни с парным молоком. Теплая кровать и легкие занавески на арочном окне. Фрукты в перламутровых вазах. Книги. Ирдинн все не мог открыть глаз, потому что чувствовал: по щекам сразу побегут слезы. Побегут, упадут, смешаются с болотной водой. Нет, он оставит их себе. Илистое дно тянуло все ниже. Цепляться было не за что, да и сил не осталось.

Уже чувствуя, что через несколько мгновений все кончится, дергаясь в последний раз в поисках хоть какой-то призрачной опоры, задирая подбородок, Ирдинн выдохнул свое имя – единственное, что еще связывало с живым миром. Вскинул руку повыше, растопырил пальцы

---

<sup>2</sup> Приливной круг / *общепотр.*... прилив – аналог земного года, время от одного Большого прилива до другого. В Большой прилив море поднимается так высоко, что подтапливает прибрежные города и уносит с улиц весь мусор. Середину круга знаменует Большой отлив, когда море уходит от берегов очень далеко. В эту ээлту люди проводят на оголившейся гальке празднества, например, сжигают водоросли в кострах и прыгают через них. В некоторых странах приливной круг также делится на два полукруга.

– но уже не увидел, как на ладони проступила, засверкав, алая метка рода: цветок чертополоха с острыми листьями-пиками.

Болотная вода сомкнулась над головой. Пришел последний сон.

\* \* \*

В разуме Бьердэ искрился вечный лед, как и в разумах его просветленных братьев. Он знал: ничто не уходит в никуда, ошибки дороже побед, а правда бесценна. Это знали все *пироланги* – самый малочисленный из трех народов, что заселили Общий Берег много, много приливов назад.

Пироланги всегда жались к небу – насколько возможно, когда земля гнет тебя вниз. В алмазных рисунках созвездий и перламутровой пляске сияний они находили защиту и знание, по небу читали путь. Небу было неважно их уродство: пироланги, все до одного, рождались крупными, красноглазыми и покрытыми густой снежной шерстью, так непохожей на нежную голую кожу их хрупких собратьев – белых *кхари* и черных *нуц*.

Домом – в то время как собратья искали тепла и красоты в приморских долинах – пироланги выбрали Холмы, дикие, лесистые и угрюмо поющие голосами ветров. Оттуда они глядели в небо, а небо – на них. Небо помогло им построить самые крепкие дома и создать надежное оружие, подсказало, из чего делаются спасительные лекарства и где прячутся бесценные металлы. Небо рассказало и многое другое, без чего и пироланги, и собратья пропали бы, когда только-только обустроивали убежища и пастбища, потом – селения и города, потом – могучую Цивилизацию Общего Берега. В небе ведь жили боги, множество их. Боги любили болтать, а в прежние времена и являться. Истории их передавали из поколения в поколение. До поры все было хорошо. Но пора, похоже, завершилась.

Бьердэ понимал это. Именно поэтому ему, пусть скованному льдом всезнания и всепринятия, было теперь тревожно. И пока готовилось снадобье для больного маленького графа ЭнуЭллиса, Бьердэ читал.

В новом списке Книга Моря порастеряла певучесть, зато обрела ясность – не это ли нужно запутавшимся в вере? Бьердэ перебирал мохнатыми белыми руками плотные шершавые страницы, одну за другой. Но не знал, куда деться от стылых взглядов звезд.

... Общий Отец наш – великий Сила – не рождался и не имел лика, и плотью Его был лишь дым, и плоть эта все же была брэнной. Она тяготила Его и терзала, влекла Его за ветром, шептала в недолгом сне: «Где же Твой дом? Чей Ты сын, чей отец, чей брат?» И, не зная всего этого, искал Сила свою судьбу – зеркала, где можно отражаться, и сердца, которые можно зажигать. Но ничего не находил: мир был еще пуст. И решил тогда Сила создать судьбу, зеркала и сердца сам, и стал скитаться, и сотворил огонь и океаны, созвездия и молнии, радуги и грозы, зверей и птиц. Он устал – а голосок в голове все не смолкал, тихо плакал. И понял Сила причину слез, и стало самому Ему грустно в доме, полном красоты, но лишенном глаз, чтобы на нее смотреть, и уст, что сказали бы Ему: «Ты хорошо потрудились, отдохни, ты дома».

Тогда, чуть-чуть по своему подобию, чуть-чуть по подобию зверей, сделал Сила людей. Взял Он для этого морской соли, звездной пыли и рыбьей крови, хребтами же стал гибкий тростник. Из тех, в ком много было соли, получились белокожие кхари – нежные, отважные, но непостоянные. Из тех, в ком преобладала рыбья кровь, родились черные остроухие нуц – непокорные, страстные, но себя же ранящие клинками страстей. А из тех, кого Сила осыпал излишком звездной пыли, вышли сияющие шерстью, чуткие к знаменьям, но невзрачные, словно космический камень, пироланги. Те, кто много знает и мало говорит, много может, но ничего не хочет.

И оставил Сила новорожденных созданий у моря, дабы выбрали себе приют. Испугались люди голодных штормов, не стали строить лодок и расселились по долинам Первого континента и его Детеньша; дальние же, заморские земли остались пустыми. Всем хватало места на Общем Берегу, даже этот кусочек мира казался исполинским и страшным, потому народы уживались, не тесня друг друга. Тогда они искали единения – словно стая волков со шкурами трех оттенков. А Сила холил их и лелеял как мог.

Бьердэ перелистнул страницу и взглянул на карту, бережно и детально нарисованную на обороте. Древний новорожденный мир всего с тремя континентами. Первый – родной – напоминал задремавшую морскую змею; Детеньш – может, и не континент вовсе, а крупный остров – походил на змееныша, из любопытства забравшегося матери на голову и восхищенно разинувшего рот при виде голубых просторов. Просторов... и того, что зоркие глаза Детеньша, возможно, могли различить за гребнями волн. Ведь здесь же, на карте, древний художник отметил третий, никому не известный континент. *Заморские земли*. Контуров их были зыбкими, прерывистыми, но почему-то именно для них не пожалели серебряной краски.

Мелькнула привычная с детства, любопытная, никем из наставников не поощрявшаяся мысль: что, если и там кто-то есть? Там, на огромном расстоянии от дома, тоже может кто-то жить, и жить... иначе? Лучше. Дольше. А ну как у этих людей – или нелюдей – можно было бы попросить совета? Бьердэ слабо усмехнулся, покачал головой, сам ругая себя за наивность. Никто, никто из тех графов и баронов, которых он знал, не стал бы просить совета у чужака, даже просвещенные собратья не стали бы, ведь, прося совета, ты вверяешь себя в чужие руки. В землях Цивилизации Общего Берега слишком многие считали себя особенными. Избранными. Умнейшими. И, может, именно оттого, что число таких людей только росло, Общий Берег становился все менее уютным, добрым и понятным местом. Хотя справедливо ли винить в самонадеянности и гордыне существ, которых слишком любил Создатель? Ведь Он их правда любил.

Бьердэ отвел глаза от загадочных серебряных контуров и продолжил путь по знакомым строкам. Поля новой страницы запестрели карминовыми, лазурными, изумрудными, золотыми рисунками листьев и соцветий. Началась эра людей.

... Прошло немного времени. Родились на свет две женщины из рода кхари – Парьяла и ДжервЭ, Светлоликая и Темноокая, и обе они понравились Силе. Сказал голосок в голове: «Вот ради чего Ты творил мир, вот ради чего нужно жить».

И принял Сила облик прекрасного юноши с локонами, струящимися как дым, и пришел к Парьяле, когда та собирала мидий, и сказал ей: «Будь моей». Он был с ней так ласков, Он был с ней так робок, что Парьяла Светлоликая вскоре полюбила его. И родились у них первые дети-боги: светлая Лува, красой превзошедшая мать, и справедливый Дараккар с зоркими серыми глазами. За ними – оленерогая принцесса природы Вирра-Варра, и маленькая златоглазая богиня знаний Дио-Дио, и щедрый толстяк Милу нг, которого ничем было не разозлить. Последним появился на свет покрытый шерстью Пал, веселый хранитель дружбы, сплетающий ее в нити. Дети ни капли не походили друг на друга – так крепка и всеохватна была любовь Силы.

Так и жили. Однажды, деля ложе с прекрасной супругой, Сила так нежно поцеловал ее в ладонь, что расцвел на коже гербовый цветок, Королевская Незабудка. И когда понял Он, что свершилось колдовство, то не испугался, не забрал метку – нарек Парьялу госпожой своего дома, госпожой мира; голубые бутоны вспыхивали теперь на ладони, стоило ей назваться. Подарок так понравился ей, что она упростила мужа раздать отметины всем достойным людям, и наделить их властью над более слабыми, и велеть править справедливо. Так роздал Он вскоре Лилейник, и Розы, и Крапиву, и Персик, и Чертополох, и много цветов и трав. Королева, графы

и бароны отныне узнавали друг друга по этим знакам. Они были горды гербами, а Парьяла – своим Людским Садам.

Потом Сад начал гнить и заболевать: растения разрослись, и им стало тесно, и забыли они, что сильные должны беречь слабых от ветров и палящих лучей. Но то было многим позже.

«Многим позже...» Бьердэ не раз видел эти слова, не раз зачитывал их, например, когда ему вдруг выпадало заниматься с детьми замковых слуг, учить их общей истории. Но именно сегодня его, несмотря на густую шерсть, пробрал озноб, он дернул плечами и ощутил, как они напряжены. Древние авторы, составлявшие Книгу Моря из разрозненных сказаний, не могли быть пророками, нет на Общем Берегу пророков... или все же есть? Или что-то дурное чувствовали уже те, благодаря кому сказания появились?

«Сад начал гнить...» Истина, лечить его все сложнее. У верховного короля никак не получается зачать сына – рождаются одни девочки, да еще слабые, ни одна не сможет потом удержать в руках такую огромную территорию. В тропических землях Кипящей Долины новый граф открыто пренебрегает честью: по слухам, брат его вряд ли *просто* умер от долгого мора, а сыновья вряд ли *просто* пропали без вести. И даже здесь, в мирном вроде бы Соляном графстве, мелкие власти все чаще сталкиваются лбами: взять то, как грызутся два столичных барона, выясняя, кто же здесь больший закон – городская стража или суд. И так во многих знатных семьях. Они будто готовы броситься друг на друга по любому поводу, выкорчевать друг друга и сжечь. Но лишь тайно, ведь стоит верховному королю объявить бал, и созвать всех, и, ласково улыбаясь, начать жать холеные руки – белые, черные, мохнатые, – ему миролюбиво улыбаются в ответ.

Бьердэ обвел широкими когтистыми пальцами хрупкую веточку незабудки на поле. Он ничего не мог с собой поделаться: ему и самому не слишком нравился нынешний верховный король. Нет, не так... с этим королем Бьердэ не чувствовал себя надежно. Не оставляло понимание: если что-то случится в знатных кругах, если чем-то вдруг станет недоволен народ, в общем, если поднимется шторм – король его не усмирит. И остается только благодарить богов за то, что *пока* шторма нет. Но поводов для него все больше, даже звезды говорят об этом.

Звезды. Бьердэ бегло перевел взгляд на верхнее поле страницы – там серебрилась целая россыпь немых небесных светил. Немых ли? Нет ли и в их рисунке какого-то предостережения? «Смените короля, пока не поздно»? «Поддержите короля, и он окрепнет»? «Поищите врагов в собственных рядах, срежьте гниющие ветви»? «Обратитесь за помощью, смилив гордыню»? Поняв, что теряется в звездах, Бьердэ продолжил читать о прошлом. О том времени, когда послания их были милостью, а не угрозой.

...А тогда Сила, хоть и жил счастливо, никак не мог забыть Джервэ. Все тот же голосок в голове дразнил Его: «Вот ради чего Ты творил мир, вот ради чего нужно жить». Он понимал – это измена, но понимал также: без второй красавицы уже не будет Ему покоя. «О чем мечтаешь?» – ласково спрашивала Парьяла, а Сила отводил глаза, чтобы не сказать случайно: «Больше не о тебе».

И вот вскоре Он встретил Джервэ в лесу, где та загоняла с ручными барсами оленя. Она была слишком прекрасна, чтобы усмирить соблазн. И, сдавшись судьбе, Сила принял облик статного мужчины с глазами, серыми как дым, и, когда Джервэ отдыхала в роще, явился к ней. Он сказал ей то же: «Будь моей». Но Джервэ Темноокая лишь рассмеялась: «Попробуй добиться меня». А когда Он к ней потянулся, смутьянка извернулась, ударила его ножом и побежала прочь.

Сила погнался за ней и настиг в глубине чащи. Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась снова: «Ты силен. Иди ко мне». И взял он ее там, истекая кровью от раны ее ножа. И родилась в ту ночь богиня Камэш, Красная Дева-Птица, – воплощение скорби и боли. За ней – красивые

близнецы-воины Дзэд и Равви и черная Ва рац – уродливая из-за панциря на спине, но плодотворная и способная вырастить урожаи даже в те засухи, когда сдавался добрый Милунг.

Восхищаясь нравом второй супруги, Сила взял горсть звезд и ими написал на небе ее прозвание – Охотница. Гордой Джервэ понравилось это, и она упростила давать прозвания всем достойным правителям и записывать их на небе, чтобы стало там больше созвездий. Сила уступил. Отныне каждый раз, когда в правящем роду появлялся наследник, пиrolанги считывали по небу его будущее прозвание. Сокол. Воитель. Стратег. Все правители были тогда достойными, никого звезды не обходили стороной.

Однажды небо не выдержало тяжести и упало. Но то было многим позже.

А тогда Парьяла и Джервэ жили без ведома друг о друге. Узнав же, разозлились на супруга больше, чем друг на друга, и быстро примирились, и заключили союз. И пришли они к Силе, и велели выбирать. Но Он молвил: «Вы для меня равны и любимы, и дети – тоже. Но мы можем жить втроем». Жен не устроил ответ, они в гневе воскликнули: «Тогда мы будем жить без Тебя!» И снова ударила Его Джервэ ножом, и сделала это семь раз; Парьяла же оплакала тело. И родились от крови и слез еще боги: рыжие лукавые Моуд и Вистас, повелевающие судьбой, за ними – Кошмаротворец Вудэн, черноликий и с щупальцами вместо ног. А Силу обманутые супруги сожгли и развеяли пепел. И снова Он странствует по миру, ища дом и судьбу, зеркала и сердца. Но никого Ему больше не найти, и никому не найти Его в дичающем Саду. И только последнее божество, божество любви с двумя ликами, божество, не родившееся ни от одной матери, напоминает двумя своими улыбками: Создатель все еще рядом со своими созданиями. И, может, не даст им пропасть.

Бьердэ повторил про себя: «*Вы для меня равны и любимы, и дети – тоже*». Эта фраза не только ему не давала покоя. Сила не смог выбрать, какую семью любит больше, предпочел умереть отвергнутым обеими женами. Люди же выбрали и, казалось, ни мгновения не сомневались. Как их не понять?

В природе людей издревле укоренился страх Тьмы и всего с ней связанного: боли и кошмаров, скорби, войны и гнева. Переживая что-то по-настоящему темное, люди не всегда осознавали как собственную в том вину, так и грядущие светлые перемены. Они испытывали от своих дурных порывов и непосильных бед справедливую брезгливость, злость, печаль, страх – и считали их сродни принесенной кем-то заразе.

Взять хотя бы Вудэна, ведающего и смертью – последним сном, – и снами живыми, сладострастными, вещими и кошмарными. Он, разнося на щупальцах нечистых духов шан' и задувая фиолетовые свечи жизни, сталкивал людей лоб в лоб то с грязной глубиной разума, то с брэнностью и недолговечностью. Вудэна боялись, считали могущественнейшим из детей Джервэ и рисовали настолько уродливым, насколько возможно: оскаленная пасть с треугольными зубами, бесконечные щупальца того цвета, какого бывают скорлупки молодых мидий. Но его это не отпугивало. Он приходил раз за разом, забирал кого хотел, мучил кого хотел. Так же поступали и прочие боги.

Возможно, поэтому когда-то люди решили, что поклоняться Королю Кошмаров, и Кровавой Черепашке, и Птице Боли, и Близнецам Войны лучше подальше от мест, куда проникает свет и где бьются сердца. Для этих культов люди выбрали чаши, угрюмые пещеры, заросшие пустыри и могильники, надеясь так не накликасть на себя лишних бед. Зато, заискивая перед Светлыми богами, вымаливая любовь и удачу, люди возвели и продолжают возводить им помпезные храмы везде, где селятся. В самой захолустной рыбацкой деревеньке обязательно есть хотя бы храм Милунга, дарящего сытость, или Пала, сводящего с союзниками. Места для темных культов обычно на отшибе, ими пугают детей и девиц. А ведь боги ревнивы и обидчивы, в этом они неотличимы от любых младших братьев. Поэтому они всё чаще ведут себя скверно.

Светлые тоже не спешат давать милость. Вспомнить хотя бы маленького графа, которого опять сегодня рвало кровью, а он и слезинки не проронил, только сжимал до судороги кулаки...

Снадобье закипело, и Бьердэ поспешил к очагу снять котелок. Дальше понадобилось его процедить, слить в глиняную чарку и отнести на подоконник остывать. Лекарство пахло бадьяном и полынью, на вкус тоже горчило – как и судьба этого ребенка. Да поможет ему. Бьердэ поднял голову к небу. Звезды смотрели без сочувствия.

Люди часто жестоки к своим богам. Так поможет ли мальчику бог Справедливости, к которому взывают по графскому приказу? Тот, кто, воплотившись однажды ради дружбы со смертными и напугав их могуществом, был ими искалечен, ослеплен и с тех пор стал также покровителем больных? Кто знает. У Дараккара два лика: белокурый юноша с нежной улыбкой и мрачный лысый полутруп, на чьем лбу горит третий глаз – сквозная дыра, пробитая светлоликой сестрой, чтобы заменить настоящие, выколотые. У бога, лишившегося красоты и всепрощения из-за жестокой трусости людей, сложный нрав. Даже защищая невинных силой по-прежнему доброго сердца, он губит тех, кто оступается в угоду страстям, страхам и страданиям.

А ведь именно в угоду страстям, страхам и страданиям люди творят столько ошибок, даже просветленные. Особенно теперь, когда объединяет их все меньше, а разделяет – больше. Им все сложнее жить в стае: у некоторых слишком опасные зубы, у других – шкура на зависть, у третьих – странные повадки. Так пироланги не раз говорили верховному королю, но он лишь улыбался, поднимал руку, веля молчать, – и на ладони вспыхивала Незабудка. Цветок был еще красив, но цвел слишком долго...

«Быть беде». Старейшины, послушав короля и прочтя знаки, заговорили о вещи, для Бьердэ пока еще дикой: об уходе с Общего Берега. Они хотели, например, отправиться в горы, ближе к небу, туда, откуда его почти можно целовать и где реже слепят глаза гербовые цветы. Опасливые шептали: «Это бунт». Храбрые возражали: «Это спасение для всей Цивилизации, мы знаем слишком много». Бьердэ возразил бы иначе: «Разве это... не предательство? Кто будет подсказывать прочим, кто будет их лечить, кто будет изобретать оружие и игрушки? И разве мы не семья?»

Впрочем, ему часто пеняли, что с ним что-то не так. Что лед его всезнания и всепринятия слишком тонок, что глаза его слишком жадны до простых вещей, а сердце – до простых чувств. Иные, самые резкие, даже звали его убогим, равняя с теми редкими пиролангами, которых Сила отметил гербовыми цветами. Таких было меньше, чем кхари и нуц, но они существовали и по понятным причинам не хотели оставлять Цивилизацию ради эфемерного спасительного изгнания. Ни графом, ни даже бароном Бьердэ не был, но уходить правда не хотел: привязался к благородному господину Энуэллису и его детям, особенно к младшему мальчику. Разве правильно уйти, пока всё в порядке? И честно уйти тем, кто так же, как братья, предпочитал Свет, так же закрывал глаза на мудрость, которую может нести Тьма – мягкая, бархатистая, холодная? Разве не во тьме загораются звезды? Да и... существует ли хоть один по-настоящему светлый или темный бог, существует ли среди любви и верности, войны и смерти, боли и мудрости что-то безоговорочно темное и светлое? Все зыбко. Все может спасти и навредить. Особенно когда бежишь в стае.

Но Бьердэ был молод и не был старейшиной, ничего не решал. Он мог только готовить лекарство маленькому господину и задумчиво оглядывать стройные, искрящиеся серебром шпили храмов. Их много было в Ганнасе – одном из красивейших городов Цивилизации. Храмы, все как один, тонули в ласковых персиковых садах и розариях, резном известняке построек поскромнее, сиреневых тенях переулков, похожих на нарядные ленты. Любимый ребенок Моря, любимый ребенок Берега. Как же Ганнас не походил на холодные холмы и ледяные горы; как любовно его когда-то возвели и продолжали скрупулезно достраивать хрупкие, словно мелкие ракушки, братья. Каким родным он стал... И, любуясь им сейчас, Бьердэ ста-

рался меньше думать о непознаваемом и неслучившемся и больше надеяться на лучшее. Жаль, это было все сложнее и сложнее.

«Быть беде», – повторяли старейшины.

«Быть переменам», – возражал он, в глубине души понимая, что лишь утешает себя.

А стая бежала за вожаком сквозь Людской Сад, блестела белой, черной и серой шерстью, скалила зубы – у кого острые как ножи, у кого тупые, как пещерные сталактиты, у кого гнилые, как подтопленные болотом корни деревьев. Стая выла и рычала, прижимала уши, подгоняла детенышей, учила их охоте, удерживала за нежные загривки, не давая споткнуться и вылететь с тропы.

Стая ждала, пока опустится ночь и вожак упадет.



## Часть 2

# БЕЛЫЙ КУПОЛ

### *Первый прилив великого разлада*

*Ибо тому, кто сопричислен ко всему живому, есть надежда.  
Ибо живой собаке лучше, чем мертвому льву.*

*Екклесиаст*

## 1. Светлое время

Вальин любил, когда Сафира приходила к нему по утрам. Уже двенадцать приливов он увидел, и два минуло, как она перестала быть его няней, но неизменно он предчувствовал: именно сегодня она его навестит. И хотя от нее давно пахло не благовониями и сладостями, а масляной краской и чертежным мелом, Вальин узнавал ее даже по запахам. Именно запахи сейчас, когда он не открыл еще глаз, а только-только вынырнул из дремы, подсказали, что за гостя рядом. И сердце часто забилося.

– Сафира, – сонно пробормотал он. Ласковая рука зарылась в его волосы.

– Здравствуй, милый. Ну как ты? Разбудила я тебя, бессовестная...

Она сидела в изголовье кровати – рыжая, стройная, в малиновом платье, перетянтом тройным пояском из звонких овальных монет. Змейки- локоны защекотали кожу, когда Сафира наклонилась и поцеловала Вальина в лоб. Губы ее все же пахли сладостями: она в последнее время полюбила лавандовые леденцы.

– Хорошо, – шепнул он и улыбнулся, поднимая руку навстречу. – Я вообще... хорошо. Волосы у тебя сегодня пушатся.

Сафира поймала его ладонь и легонько сжала. Рука ее была от лунок ногтей до запястья расписана хной, но хна не могла скрыть мелких порезов на подушечках пальцев. Это от бумаги. Опять, похоже, Сафира заработалась. Точно, вон у нее и рукав в мелу...

– Жара нет. А ведь ветра с моря дуют, сильные.

Говоря, она опустила его ладонь на одеяло, знакомо свела брови-уголки. Вот-вот начнет тревожно допытываться о самочувствии, и задрожат подкрашенные золотом ресницы, и, возможно, она даже заявит глупость вроде «Тебе бы сегодня полежать, спрятаться, может, книжку почитать...». Вальин поспешил не допустить этого, напомнив:

– Ну я же теперь не хуже других во всем! – Он бодро перекатился со спины на бок, не зная, как еще доказать, что жив, весел и передумал умирать. – Ветра мне больше не враги. – Он покосился на дверь в забитую книжками и снадобьями каморку лекаря, прилегавшую к спальне. Понизил голос до солидного шепота: – Бьердэ говорит, это чудо. А я просто рад, что позабыл про его травянистую гадость и прочие ужасы!

На самом деле «чудо» случилось довольно давно. Сафира все знала сама, но почему-то продолжала беспокоиться и задавать мохнатому белому доктору уйму вопросов. «Точно ли ему можно выйти на берег?» «А если ему станет плохо?» «Вы видите эту трещинку у него на губах?» «Что он сегодня ел?» Вальина это и смущало, и сердило, и в то же время трогало, а вот о легкой ломоте в костях, все еще возвращавшейся, едва с Общего Моря приходили бури, Сафире было знать не нужно. Вальин верил: боль совсем уйдет, если он постарается. Однажды: на выздоровление всегда нужно время. А пока у Бьердэ найдется приятный укрепляющий отвар на меду, иве и горных мхах.

– И лицо у тебя такое хорошее сегодня. – Сафира погладила его по щеке.

– Хорошее? – переспросил он, не сдержав легкой обиженной дрожи.

– Красивое, – ответила она спешно, виновато, понимая, наверное, что его не обмануть. – Красивое-красивое. Ты просто так быстро растешь. Вот.

Но он знал, о чем на самом деле она думала, почему в тоне было столько нежного, недоверчивого, ранящего хуже ножа облегчения. Захотелось даже кивнуть, усмехнуться и бросить: «Ну да, совсем не тот распухший урод с нарывами в пол-лица, которого ты раньше встречала, войдя сюда в ветренное утро». Но он не мог – слишком много таких пробуждений она пережила. Слишком часто прижимала его к себе трясущимися руками, пытаясь согреть; умывала мятным отваром, обещая, что боль уйдет; до хрипа звала Бьердэ и требовала новых лекарств; вытирала рвоту, до которой доводил кашель; плакала вместе с Вальином, уткнувшись в его же окровавленную подушку, и бранила слуг за то, что не закрыли окна по всему замку. Она имела право радоваться, что все это в прошлом. И радовалась она не за себя, а за него. Он не смел винить ее в том, что злится от одного напоминания о тех приливах. О слабости, вновь упасть в которую так боялся.

– Я порой думаю, что однажды не узнаю тебя или ты меня, – сказала Сафира все с тем же виноватым теплом. Это было ее «прости».

– Я? Тебя? Всегда! – Вальин потерял щекой об ее руку. Это было его «прощаю».

Морские ветры приносили ему прежде язвы. Жар. Слабость и тошноту. Но все кончилось с тех пор, как решили: Вальин Энуэллис из рода Крапивы, младший сын Остерйго Энуэллиса, правителя Соляного графства Цивилизации Общего Берега, станет жрецом Дараккара Безобразного. Бог принял его и исцелил, в отличие от своей сестры Варац, наставшей врожденную болезнь. Вальин ужасно боялся Черепахи, точнее, уродливой женщины с панцирем на спине. На пиках недуга, когда голова превращалась в охваченный огнем камень, а горло забивалось кроваво-гношной мокротой, ему часто казалось, будто она стоит у постели и скалится. С длинного языка капала едкая вонючая слюна, безгубый рот шептал: «Я заберу тебя, малыш». Варац по праву ненавидела Вальина: когда мать ждала его, богине не приносилось таких щедрых жертв, как перед рождением старшего брата. Ради Эвина на алтаре убили голубую пантеру и четырех ее котят – и родился он здоровым, крепким. Ради Вальина закололи серую куницу, ведь наследник у престола уже был. Но и в этом он старался никого не винить.

Став постарше, он полюбил Светлые храмы, высокие, величественные, выстраиваемые обычно из белого камня и щедро украшаемые зеленью и цветами. Там легче дышалось, прояснялся ум, утешалось сердце – особенно когда во время месс служители тихонько вдыхали музыку в витые раковины и музыка эта заполняла своды нескончаемой песнью моря. Ближе всех Вальину был Дараккар – советчик, судья. Вальин и сам был, по насмешливым уверениям Эвина, паинькой и мог бы стать судьей... но приступы хвори учащались, и ему выбрали другой удел. Того, кто несет богу жертвы – виноград, хлеб и серебряные зеркала – во имя справедливого суда и раскрытия преступлений. А еще того, к кому приходят с покаянием. Из всего пантеона только Дараккар обладал правом исповедовать и прощать; может, потому отец не против был занять среди дарующих покой жрецов своего. Как-то он сказал Вальину с грустным смехом: «Когда и я приду к тебе за милостью, пожалуйста, не будь слишком строг, хоть я и великий грешник». Вальин обещал. Впрочем, пока его допускали исповедовать только детей и подростков с их безобидными прегрешениями вроде потерянных монеток, ссор с родителями, зависти к учителям и драк с друзьями. Вальину это было по душе: подглядывая из-за исповедальной завесы, он замечал, что люди уходят счастливыми, прямее держат спину. Конечно, он здорово уставал и порой сам нуждался в исповеди или хотя бы в участии, но этого ему не полагалось.

– Я встаю! – зачастил Вальин, уже окончательно проснувшись. – Ты ведь погуляешь со мной, Сафира, да? Я свободен сегодня! Позавтракаем и пойдем в бухту, а? Или позавтракаем прямо там? Что бы ты хотела? Я скучал по тебе, я...

Слово за словом, идея за идеей. Он и сам сердился на себя за эту детскую настырность, за сбивчивую болтовню, но остановиться не мог. А голос разума, тоже наконец проснувшийся и спохватившийся, шепотом стыдил, напоминал издевательски: с ней так нельзя. Это же Сафира, мало того что взрослая, так еще и теперь с таким статусом. Она каждый день завтракает, обедает и ужинает с людьми совсем другого... уровня, наверное, так. С отцом, например. С важными суровыми жрецами. С невероятными художниками и строителями, с загадочными мастерами по цветному стеклу. С теми, с кем интересно. С теми, кто каждый день видит и делает что-то новое. А он.

– Милый, я, наверное, не смогу, – вздохнула Сафира, снова выпрямляясь. Глаз она не прятала, но голос звучал без капли ответного оживления. – Даже позавтракать.

...А он каждый день делает одно и то же. И вдобавок плохо воспитан.

– Храм, – продолжила она, теребя платье на коленях, – мастера должны наконец показать мне белую капеллу. Я спешу, вдруг что не так. Простишь? Это только сегодня.

Вальин, севший было, понурился, прислонился лопатками к подушке и натянул одеяло выше. Ну конечно, он так и предчувствовал: что-то было у Сафиры на лице, что-то не прежнее, что-то, что все чаще появлялось там и противоречило всем ее «скучаю», «люблю» и «только сегодня».

Но думать не хотелось. Проще было убеждать себя, что она страшно занята, немного зазнаётся, волнуется о своих планах, но скоро все обязательно наладится. Завтра. Через элту. Через прилив.

– Прощу. – Он постарался улыбнуться. В костях, особенно в позвоночнике, ныло и покалывало – теперь, поерзав, он это ощутил. – Почему же ты тогда тут, занятая моя?

– Не удержалась, дурачок, ну куда я без тебя? – Явно уловив обиду в голосе, она снова попыталась погладить его по волосам. Он фыркнул и увернулся. – Люблю на тебя смотреть. Как ты спокойно спишь. Как ты...

– ... не мучаюсь? – на этот раз он спросил прямо. Должны же они были научиться об этом говорить. – Спасибо, правда.

Она кивнула, не став больше ничего выдумывать: никакого «красивый», никакого «быстро растешь». Благодарный, он потянулся к ней и обнял сам – такую нежную и чужую. Разделившую с ним столько боли, но почти не разделявшую новых радостей.

– Сафира, Сафира, – зашептал он ей в плечо, – зачем ты так боишься? Зачем за меня? У тебя теперь есть этот твой храм, всякие большие дела, ты важная такая.

– Дурачок! – повторила она, поймав в словах ревность, но вроде не обидевшись. – Храм – это другое. А еще... настоящим Храмом может быть только человек. Знаешь это? Ты тоже, может, найдешь однажды свой.

Звучало красиво, но словно откуда-то издалека. Вальин промолчал, только потерся щекой о ее ключицу. Сияющая Лува дарила миру утренний свет, стены из белого резного камня искрились, как жемчуг, в комнате было тепло, а Сафира сидела рядом. И больше Вальину сейчас не хотелось ничего. Он пережил пока мало пробуждений вроде этого. Без судорог и хрипов. Без крови на подушках. Без понимания: он снова подвел семью, подвел Сафиру, подвел Бьердэ. Тем, что не умер во сне и продолжает, словно какой-то нечистый дух, высасывать их улыбки и силы.

Морской хвори – его болезни – боялись все жители Общего Берега. Особенно, конечно, обремененные трудами рыбаки, виноградари, пастухи, но купцы и аристократы – тоже. Хворь приходила с ветрами: ветры эти, даря прохладу одним, терзали других, а жертв выбирали наугад. Кого-то они преследовали с рождения, на кого-то ополчались в расцвете сил или в старости. Казалось, не кончатся мучения больных, день за днем падающих в агонии, захлебывающихся кровью, закрывающих изуродованные лица. Но мучения заканчивались, едва возвращался штиль.

Лекарств не было – немного спасали только обезболивающие и обеззараживающие отвары; благовония, пробивающие нос; разогретая галька на грудь и теплые ванны. И даже уезжавшие от моря вглубь континентов оставались обречены с ним кровью, смрадом гниения и язвами, открывающимися всякий раз, как на покинутой родине начинали резвиться ветры. На двадцатый-тридцатый прилив недуга приходил последний сон. Король Кошмаров задувал тусклую свечу жизни, и лиловый отблеск переставал терзать изуродованный труп.

Так с рождения до пострига жил и Вальин, сколько его ни лечили снадобьями, сколько ни привозили чудодейственных артефактов. Живой и любопытный, он с трудом переносил прикованность к постели, бессонницу и боль. Хотелось вернуться к любимым играм или даже урокам, а приходилось лежать, молиться, как учат жрецы, и поглядывать на двери в надежде, что кто-то – хотя бы заботливый Бьердэ – заглянет. Но Вальину мало было разговоров с мудрыми медиками, мало фальшивой ласки Ширханы – новой графини, сменившей на престоле покойную мать. Брат не заглядывал: для него младшего давно не существовало. Не заглядывали дети знати, боясь заразы, хотя морская хворь заразной не была. А после восьмого прилива при дворе появилась Сафира.

Девушка родом из графства Холмов выросла среди пиролангов и, как и они, разбиралась во всем на свете. Она вовсе не хотела быть няней, а хотела строить здания – не те практичные и безликие, что возводили на ее родине, а настоящие приморские дворцы и храмы. Но вот она осиротела, у нее не осталось средств закончить обучение, и ее, отчаявшуюся, рекомендовали Энзуэллсам. Она была двоюродной сестрой, или племянницей, или незаконной дочерью кого-то из придворных – Вальин не помнил, да и неважно. Важно оказалось, что Сафира увидела всего приливов на семь-восемь больше, чем он, и не успела превратиться в строгую жеманную женщину. Она понимала Вальина – например, как трудно днями и ночами лежать в постели без дела, как много в такие часы думается о плохом. Сафира стала нарушать правила: она тихонько уносила хрупкого мальчика на руках из дворца, а потом увозила на лошади в парк птиц, в сад фонтанов, в рощи – куда бы он ни захотел. А еще она знала тайную бухту, в которую не мог забраться ни один ветер. Песок там был мягкий, и там Вальин и Сафира строили замки. Они не походили на косые нагромождения, которые Вальин пытался возводить раньше, в одиночку. У Сафиры получались настоящие башни, и мосты, и галереи. Глядя на них, Вальин думал, как было бы здорово застроить так Ганнас. И даже улыбался, хотя давалось это, когда губы больше похожи на рваную окровавленную тряпку, тяжело.

Сафира, наверное, откладывала жалование: через два прилива она ушла. Вальин не держал ее; ему всегда казалось, что чем больше держишь кого-то, тем дальше тот попытается убежать. Он не плакал, прощаясь, но плакал потом, и очередная морская хворь прошла для него небывало тяжело. Часть язв не зажила, когда пришел штиль, оставила рывины на висках, а один глаз начал слепнуть. Вальин не знал: Сафира будет возвращаться. Просто появляться вот так, иногда прямо в его комнате, гладить волосы, трогать лоб и говорить о больших, настоящих зданиях, которые теперь строит. И – когда есть время – снова строить маленькие, из песка, в бухте. Жаль, не сегодня.

– А что все-таки за храм? – спросил он, уже умывшись, причесавшись и одевшись. – Правда, что ли, темный? Народ такие ужасы говорит...

– Да, – отозвалась Сафира. Она стояла у окна и задумчиво глядела в морскую даль. – Храм Вудэна. Первый в городе. Даже жрец уже выбран.

– Повелителя Кошмаров и Последнего Сна? – Вальин старательно застегивал посеребренные пуговицы на синем, расшитом крапивой жилете. – Разве он не самый страшный из богов? Зачем его славить здесь? У него есть свои «поганые места».

Сафира обернулась, качнув медными волосами, и посмотрела словно бы с удивленным упреком. Вальин взгляд выдержал, но, защищаясь, пожал плечами – мол, я ребенок, что я еще

могу думать? Тут же на себя рассердился: ну как так можно, то строит из себя большого, то перестает отвечать за свои слова. Щеки загорелись.

– А разве ты... – тихо начала Сафира, – когда боль разъедала твои кости, не звал его порой как избавителя? Звал. Я слышала, утешая тебя. Так почему не почтить его?

Вальин потупился. Опять пришлось напомнить себе, что нельзя сердиться. Ни на нее, ни даже на себя.

– Я не зову больше Вудэна. – Это он сказал твердо, даже строго, снова подняв голову. – Я хочу жить. Умирать страшно, я же ничего не успел.

Сделать. Узнать. Почувствовать – ну, кроме боли. Сафира все глядела на него усталыми зеленоватыми глазами, густо подведенными сурьмой. С таким взглядом она всегда казалась намного старше, чем на самом деле. И дальше. И беззащитнее.

– Мы ведь все зовем его, когда нам больно. – Она сцепила руки, и на коже ярче зазолотилась хна. – К некоторым он приходит, избавив от страданий, а некоторых щадит, не слыша опрометчивого зова. И то и другое – милосердие. Нет? Что было бы, приди он к тебе, задуй он твою свечу? – ее голос дрогнул. Наверное, она думала об этом не раз.

– Может быть, – задумчиво отозвался Вальин. Он окончательно решил не спорить, по крайней мере сейчас, пока даже храм этот не видел вблизи. – Ты стала слишком умная, Сафира. Извини. Сдаюсь. Все это так сложно... Но я обязательно пойму, я обещаю.

Он действительно порой не понимал Сафиру, с этим приходилось мириться: она была вольной птицей, полной сил; он – пленным хворым птенцом. Но она хотя бы говорила, причем о том, что было для нее важным, говорила, не боясь осуждения. Как блестели ее глаза, как блуждала по лицу улыбка, сменяясь иногда сумеречной задумчивостью. Как заражал ее восторг. Как хотела она какой-то своей справедливости, и Вальин готов был впустить эту справедливость в сердце вслед за ней. Смерти он боялся – да что там, даже смертью ее почти не называл, вслед за большинством предпочитая менее страшные слова «последний сон». Но, может, он правда еще не понимал о ней чего-то; может, не понимал и простой народ, шептавшийся в порту и на площадях о том, что приглашать Короля Кошмаров в чистый светлый город – скверная идея. Отец, Сафира, Бьердэ – люди, которых Вальин считал самыми умными на свете, – ведь думали по-другому. И верховный король вроде думал, иначе бы подобного не разрешил. Так зачем ссориться впустую? И вообще, пусть Сафира рассуждает о гадком Вудэне, пусть рассуждает о чем угодно! Вальин готов был слушать вечно, чувствуя себя особенным. Готов был что угодно поддерживать, веря, что Сафира это не забудет, даже когда станет великой. А еще после всех этих «ты становишься красивым» он не переставал надеяться, что, может быть.

– Сафира, слушай, а ты выйдешь за меня после моего шестнадцатого прилива? – выпалил он. – У тебя будет всего лишь двадцать третий. Я... ну.

Слова вырвались сами, внезапно, и голос от волнения взлетел до писка. Хороший ли это был способ перевести непростой разговор о непонятных вещах? Вальин тут же испуганно прикусил язык и захотел влезть под кровать, но Сафира оживилась, засмеялась – заплясали рыжие змейки-локоны, зазвенели монеты на поясе. Подойдя, она вытянула руки и принялась перезастегивать Вальину пуговицы: одну он ухитрился пропустить. Он опять покраснел, глядя, как движутся ее ловкие пальцы.

– Ох, милый, милый, чего ты, заманчивое же предложение! – Она поправила заодно и брошь на его рубашке – обережный треугольник из черного серебра.

– Выйдешь? – Обнадеженный, он даже привстал на носки, но Сафира уже отстранилась и опять погрузилась.

– Ты же будешь жрецом Безобразного. Жрецы Дараккара не женятся.

О, с этим-то он, как ему казалось, давно разобрался. Не так он и держался за сан!

– А я, как выздоровею совсем, скажу, что отслужил свое и больше не хочу быть...

– Тс-с-с! – Прохладный палец коснулся его губ, и по спине пробежали вдруг мурашки. Вальин замолчал, почувствовав странное: будто совершил какую-то непоправимую ошибку или застыл в шаге от нее.

– Что? – прошептал он, не смея шевельнуться. – Ты обиделась, что ли?

Сафира нахмурилась. В ее глазах не осталось ни мягкости, ни игривости. Очень медленно она опустила руку и сжала на монетном пояске в кулак.

– Наш мир прост, юный граф. Очень, и, приглядывая за ним, боги дремлют. Но когда ты обманываешь их, они сразу открывают глаза. Если, – она пристальнее взглянула ему в лицо, – ничего не случится, твой путь определен, и лучше с него не сбиваться. К тому же... – Но тут ее тон резко переменялся, перестал пугать. Сафира улыбнулась, щелкнула растерянного Вальина по лбу и в шутку шамкнула челюстью. – Малыш, я же стара и больше люблю здания, чем людей. Много философствую. Дружу со Смертью.

– Ничего ты не старая! – возмутился он, а в глубине сердца порадовался, что странное напряжение между ними растаяло как дым. Ну их, вредных богов. – Я тебя люблю. И пусть ты строишь храм этому, с щупальцами... может, и моему богу потом построишь? – Он замолчал. Сафира уже не глядела на него и, казалось, больше даже не слушала. – Эй. О чем ты думаешь?

Она опустила руки, голову тоже. Ее настроение снова резко переменялось, всю фигуру словно облили серой краской. Наконец, точно решившись, она шепнула:

– Я... Люди будут злы на меня. Да?

– За что? – Он поймал блеск глаз в завесе рыжих кудрей и пожалел обо всем, что сказал. Ну конечно. Это он ее расстроил своими богохульствами.

– За этот храм. Они боятся Вудэна, как и ты, – и, может, не зря. Они не готовы.

«Не готовы...» Вальин повторил это в мыслях и снова вспомнил простых ганнасцев. Добродушных торговцев и вечно озабоченных рыбаков, приветливых виноделов и сыроваров, оружейников, ювелиров, бесчисленную бравую стражу. Блистательных баронов, чьи дома отбрасывали длинные тени. Художников, скульпторов, архитекторов. Их дети исповедовались иногда Вальину. Взрослых исповедовали его наставники. От них и долетали все эти слухи: о *Кошмарнице*, как уже прозвали замысел отца и Сафиры; о жреце с некой темной, под стать Вудэну, судьбой; о ритуалах, которые в Кошмарнице будут проводить. Пить кровь. Убивать зверей. Хорошо, что только зверей; задумай кто-то построить, например, храм Варац, которой иногда приносились в жертву хворые младенцы, – точно быть беде! Вальин понимал, чего боятся люди. Например, что брезгливые светлые богини вроде Лувы и Парьялы отвернутся, что начнутся беды: мор, неурожай. С другой стороны, почему? Так ли они не любят угрюмого брата? Вальин, хотя и не особо дружил с Эвином, ни за что не отказал бы ему в уютном крове – а брат никогда не говорил, что больного младшего нужно гнать в шею. Так, может, и не случится дурного, если у Вудэна будет храм в Ганнасе?

– Милый?... – тихо окликнула Сафира. Похоже, она боялась молчания.

И Вальин ободряюще ухватил ее за руки – тонкие, длиннопалые, в россыпях золотых веснушек. Он бы поцеловал их, но не решился. Даже отец не делал так с мачехой.

– Я не буду ни злиться, ни бояться! – просто уверил он. – И отец... он же тебя нанял, он тебя и защитит. Ему нужен храм. И, значит, нужна ты.

Ее глаза потеплели, пальцы сжались в ответ. Пожатие это искорками пронзило грудь. Стало ясно: он все сказал правильно. И все правильно понимает.

– Да... я не решилась бы взяться за такую работу для кого-либо, кроме него.

И все же прозвучало это так, что Вальин не на шутку забеспокоился.

– Он нравится тебе больше, чем я? – насупился он. – Я обещаю! Я тоже поумнею. И чем-нибудь прославлюсь! Хочешь, я велю тебе построить храмами весь город?

Он ждал смеха, ждал привычного «Дурачок!». Но Сафира уже разорвала их неловкое пожатие и отступила на шаг, устало расправила плечи. Свет вызолотил ее волосы, а на лицо легла глубокая тень, похожая на вуаль. Опять она медленно уходила в себя.

– Дело не в уме, Вальин... дело в боли. Той, которую знают лишь правящие и, может быть, родители неблагодарных детей. Как хорошо, что она – не твоя.

Сафира снова поглядела в окно, на выступающий за ярусами белых, серых и голубых домиков мыс. Там, за розоватой черепицей и живыми изгородями, темнели возводимые из черного камня стены. Три башни. Три купола, которые расписывал мастер-иноземец. Средний, самый высокий, сиял пока еще холодным фиолетовым маяком-свечой, помещавшимся под самым шпилем. Вальин знал: скоро этот свет, облаченный в великолепное граненое стекло, зажгут впервые. На него будут смотреть все в Ганнасе, на него полетят мотыльки и души. Будет так красиво.

И так страшно.

\* \* \*

– Сафира, я очень скучаю по тебе.

Она еще слышала это, с зажмуренными глазами входя в прохладную тень. Она не решалась поднять голову, только нервно облизывала пересохшие, зацелованные соленым ветром губы. И одновременно она очень хотела увидеть белые фрески, ведь запах – влажная смесь песка, масла, шафрана и апельсиновых косточек – шептал: они готовы. Но как страшно... это ведь значит, пути назад совсем нет. Поэтому – пока слова, успокаивающе теплые, горькие. «Сафира, я очень скучаю по тебе».

Там, в замке, их сказали двое: мальчик, которому она привычно помогла застегнуть пуговицы жилета, и мужчина, его отец, которому так же привычно позволила расстегнуть на ней платье. Остеригу был сегодня настолько нежен, что Сафира в очередной раз проиграла, изменила себе. Она задержалась дольше, чем хотела, и лежала рядом, и пила сладкое персиковое вино из бережно подносимого серебряного кубка, и обводила пальцем выгравированных на стенках крылатых лисиц. Остеригу не хотел отпускать ее, почему-то сегодня – особенно не хотел. Ее тяжелые рыжие пряди покоились на подушке поверх его столь же тяжелых черных. Медь и зола. Огонь и ночь.

– Сафира, я все чаще думаю...

И она прижала палец к его губам так же, как прижимала к губам мальчика – младшего, единственного непохожего в этой семье. Больного, брошенного, и если первое смог исправить Безобразный, то последнее осталось.

Остеригу, как и его старший сын Эвин, был смуглым, темноволосым, синеглазым. Все классические черты жителей графства Соляных Земель соединились в нем в гармоничный рисунок и светлое сердце, и удивительно ли, что Сафира отозвалась на это так же, как отозвалась на горе, окутывавшее младшего ребенка – светловолосого, светлогожего, будто рожденного другой матерью от другого отца? Семья Энуэллис, кроме Эвина, уже в десять мечтавшего лишь о престоле и никого ни во что не ставившего, стала ей родной на целых два прилива, отделивших от мечты. Она даже поверила... Впрочем, нет, никогда не верила до конца. Ширхана – новая супруга Остеригу, дочь самого верховного короля Цивилизации Общего Берега, гарантия мира и процветания Соляных Земель – всегда была рядом. Не вмешивалась, но была. Шептала:

– Можешь улыбаться ему. Можешь спать с ним. И даже понести от него. Но сама знаешь, маленькая дуручка. Строй другие замки.

Этого было достаточно, чтобы не заблуждаться, но не чтобы отступить. И сегодня тоже, холодно шепча: «Ты точно благословишь храм?» – Сафира хотела шептать: «Люблю тебя».

Что хотел шептать Остериго вместо «Да, во славу Тьмы и Света»? Он ведь любил ее, она знала, – или не ее, а заточенное в ней талантливое отражение первой жены. Кларисс, мать Эвина и Вальина, умершая в родах, тоже была рыжей, украшала себя монетами, но не запомнилась никому ничем, кроме веселости и красоты. И пусть прошло много времени, Остериго скорбел о ней – как умел. Портрет Кларисс так и висел у него в спальне, глядел на все его утехи. Опрокинутая на спину, откинувшая голову, прижатая к постели горячим телом Остериго, Сафира часто глядела в ее печальные зеленые глаза, но не раскаивалась. Она оправдывала себя многим: молодостью, даром архитектора, но главное – возможностью дать любовь тем, кого должна была любить мертвая графиня. Остериго, второй брак которого стал чистым расчетом. И Вальину, которого отец – пусть не сознавая – винил и в потере любимой жены, и в недуге и порой отталкивал.

«А еще... настоящим Храмом может быть только человек». Так она сказала бедному мальчику, не знающему правды. Не знающему и вряд ли способному понять, что однажды, когда белокурая холодная Ширхана впервые рассмеялась в лицо и спустила холеных охотничьих собак, она, Сафира, сама звала Вудэна, стоя на краю ганнаского мыса Злой Надежды. Того самого мыса, где ныне выросли черные стены и вспыхнула фиолетовая свеча. Вудэн не пришел, зато пришел Остериго и обнял ее, за руку увел прочь, сам вместе с добрым Бьердэ обработал все собачьи укусы. Сафира благодарила Короля Кошмаров и поныне за то, что не прыгнула вниз и услышала от Остериго: «Мне жаль. Прости. Но я не Сила, не могу наречь тебя госпожой своего дома, потому что это не только мой дом». Сбереженная жизнь подарила невероятные чертежи, и запах камня, и громкие голоса тех, кто возвел из него самое прекрасное, что Сафира когда-либо создавала. И еще до того, как все это сбылось, она поняла, какая формула благодарности будет встречать паству. Надпись эту уже выбили над крыльцом.

*Svella, Maaro Mortus, t'ha o sill. Svella, Maaro Mortus, t'ha to an.*

Смерть, спасибо, что ты далеко. Смерть, спасибо, что ты есть.

Она подняла глаза. Купол казался таким же высоким, как облака в ясный день, а фрески сияли. На ближних Вудэн – острозубый, распростерший щупальца, среди которых копошились серые духи с рыбьими мордами, – ласково склонялся над старухой. Задувал свечу едва теплящейся жизни. Брал сухую длань и вел умирающую к покою, а по пути она превращалась в нежную деву. На другой группе рисунков Король Кошмаров посылал страшный сон-знамение жадному богачу, который, раскаявшись, становился добрее. А на фресках у самого алтаря бог помогал благородному разбойнику спасти товарищей – этот сюжет Сафира выбрала с особым умыслом: народ его обожал. По легенде, разбойник этот затеял с бароном, пленившим его шайку, спор. Согласился, что будет обезглавлен первым, но потребовал: «Всех, мимо кого пройдет мое тело, ты милуешь»<sup>3</sup>. Барон согласился. И труп, над которым витал сам Вудэн, прошел мимо всех десяти разбойников, неся в руках собственную голову. Их отпустили на свободу.

Изображения завораживали двойственностью. Они получились именно такими, каким был для Сафиры сам Вудэн. Кровожадное божество смерти, которое прежде славили только вдали от чужих глаз. Прозорливый хранитель, знающий цену жизни и не позволяющий красть ее впустую. И теперь Сафира, еще немного поведив глазами по стенам, улыбнулась огромной, в три человеческих роста белокаменной скульптуре. *Svella, Maaro Mortus, t'ha o sill. Svella, Maaro Mortus, t'ha to an.*

– Госпожа... как вам?

Юноша вышел из тени – Сафира даже не заметила, дрогнула при его глубоком поклоне. Чернявый, худой, тоже коренной житель Соляных Земель во всем, от кудрей до широких бро-

<sup>3</sup> Примерно так же спас своих товарищей знаменитый скандинавский пират Клаус Штёртебекер (1380–1401), который считается историческим прототипом Робин Гуда.

вей и синева жадных глаз. Жадных. Почему это слово? Сафира дружелюбно относилась к Идо, ученику знаменитого Элеорда ди Рэса. Идо был молод и упрям, одновременно оригинален и скрупулезен в перенятии мастерства. Он получил от учителя отличное воспитание, став его неродным, но любимым сыном. «Светлый мой» – так звал Идо мастер ди Рэс, и сухощавые пальцы мотыльками касались узкой спины. Сафира прятала улыбку: куда светлее был сам мастер – неопределенного возраста, с бледной кожей, темно-ореховыми волосами и тонкими губами, от которых будто отхлынула кровь. Ди Рэс прибыл из теплого, зеленого графства Равнин. В юности его – наследника огромного состояния – толкнула в путешествие тоска по умершим от хрустального мора<sup>4</sup> родителям. Ища себя, он неожиданно прижился в Соляных Землях, где вскоре завоевал славу, попал в фавор графской семьи и уже не мог отбиться от учеников. Они приходили. Уходили. А затем пришел Идо и остался.

Сейчас юноша, накинувший поверх одежды вымазанный черной краской халат, выжидательно глядел на Сафиру; косой луч играл в его неопрятных волосах. В позе: немного подался вперед, качается с носков на пятки – было что-то от недоприрученного животного. Это «что-то», не смягченное даже ямочкой на подбородке, чудилось Сафире и в лице, и во взгляде, но она, одернув себя, улыбнулась:

– Великолепно, Идо. Ты писал их с учителем?

Идо покачал головой.

– Он доверил мне черную капеллу, а вместе мы пишем фиолетовую. Вы скоро всё увидите. Пока же только это, но... они невероятны, правда?

Идо сглотнул, точно последнее слово встало костью в горле. Сафира прошлась по мозаичному полу, вслушалась в тихий стук своих каблуков. Голубоватые полупрозрачные камешки отражали сияние дня и пугливо меркли, стоило на них упасть тени.

– Ди Рэс гениален, Идо, – тихо сказала она и, сама не зная зачем, продолжила: – Неповторим. Нам очень повезло, что когда-то он выбрал наши земли и что снизошел до такого... спорного заказа. Ты ведь понимаешь это?

– Как никто, – прозвенело за спиной. – Его смелость и талант непостижимы. И я не представляю, как смогу когда-нибудь.

Он не закончил, а она, оглянувшись, нашла на остром лице целых два возможных продолжения. «Приблизиться к нему» – мечта всех учеников ди Рэса. «Затмить его» – мечта Идо. Сафира видела это всегда. Она не слишком хорошо читала помыслы, но одно чувство узнавала легко. Она слишком часто видела его на лице увядающей, стареющей Ширханы, глядевшей сквозь отражения зеркальных комнат на ее, Сафиры, свежее лицо.

– Существовать без его заботы и поддержки. – Идо облизнул полные губы. – Он все для меня; страшно подумать, где бы я без него оказался.

Сафира почти споткнулась на ровном месте. Какая нежность в голосе.

– И приблизиться к его дару хоть на шаг, госпожа.

«И все-таки лжец. Любящий лжец, но вдруг и он однажды найдет собак, которых можно будет спустить?» Мысль ужаснула, ее не удалось объяснить даже самой себе, но и прогнать все никак не получалось.

Сафира развернулась и глубоко вздохнула, опять обратив взгляд вверх. Лучше было любоваться фресками, чем глядеть в странное лицо, с которого приливы так и не стерли ни волчий голод, ни обиженную гордость сироты, ни расчет выживающего в трущобах. Сафире нравился Идо, а некоторыми его работами она восхищалась. Идо был способным, вежливым, верным и далеко не выскочкой, но любые разговоры с ним кончались так – тошнотворным

---

<sup>4</sup> Хрустальный мор – одно из заболеваний мира Двух Морей, свирепствующее на землях Детеньша раз в несколько лет. Возбудители – местные медузы, выбрасываемые на берег; вирусные частицы распространяются из-за испарений от их гниющих тел. Мор сопровождается кашлем, жаром и дыхательной недостаточностью; название связано с поверьем, будто медузы сотворены из жидкого хрусталя.

непониманием и еще более отвратительным пониманием. Рано или поздно все у них с учителем может кончиться плохо. Полудрагоценные камни порой восхищают, но лучше им не оказываться подле драгоценных.

– Мне пора, Идо. – Она спешно отмахнулась от собственных домыслов: в конце концов, ее ли это беды, ей ли вообще лезть в отношения чужих отцов и детей? – Я должна поговорить со жрецами. Если, конечно, ди Рэс не поблизости, тогда я бы сказала и ему несколько добрых слов и обсудила вопрос оплаты.

– Он дома, госпожа, он работал всю ночь. – Идо с явным трудом оторвал взгляд от голубого пола, где сияние дня играло в прятки само с собой. – Проводить вас? – По губам пробежала мягкая улыбка. – Разбудим его? Он вообще-то любит гостей, а вчера принес с рынка целую корзину базилики. Слышали о ней? Она сейчас входит в моду, такая зелено-желтая ягода, напоминающая клубнику, но более душистая и освежающая...

Эта бытовая болтовня, это добродушное, бесхитростное гостеприимство словно вернули Сафиру в действительность. И обожгли новой волной стыда. Она попятилась, поправила волосы и спешно пробормотала:

– Нет, нет, что ты... тогда позже. А мои слова можешь передать ему ты.

«Вы гениальны. И лучше вам повнимательнее присмотреться к тем, кто вас боготворит». Нет, не эти. Хватит быть такой дрянью, хватит выдумывать ерунду.

– Я непременно передам. – Едва ли Идо заметил этот подтекст. – До встречи.

Его глаза блеснули, он снова поклонился – смуглое лицо скрыла завеса тугих локонов. Минуя Идо, выходя на душную улицу, Сафира все время чувствовала его провожающий взгляд. Смотрел ли он вправду? Или снова растворился в тени своего храма и своего Мастера? Она не знала. Да не очень-то и хотела знать. Ее ждали совсем другие дела. А вот купить на рынке немного базилики, чтобы перекусить и понять, что за очередная блажь входит в моду, стоило.

\* \* \*

Элеорд проснулся резко, будто его облили водой. Почти так и было – все тело прошиб ледяной пот. Вот поэтому он и старался не досыпать днем, даже если перерабатывал ночью: стоило задремать под лучами Лувы, и его непременно навещал Король Кошмаров, передавал какой-нибудь привет, ласково схватив за горло заразным щупальцем. Видимо, такая она, братско-сестринская любовь в мире богов.

Вот и сегодня Элеорд увидел крайне неприятный, если не сказать омерзительный, сон: вязкое черное пятно расползлось прямо по его дому, заливая белые мозаичные серпы на полу, обитые розовой древесиной стены и резную мебель, завладевая серебристыми мирами зеркал и медовыми ликами картин. Элеорд искал, искал источник пятна; метался, метался по дому, но ничего не нашел. А когда он выглянул в окно, чернота пожирала уже весь Ганнас, стелясь по улицам и взбираясь на шпили храмов, хватая людей, птиц и животных. Она достигла моря, но не остановилась даже там. Она облизывала и глотала один белый пенный барашек за другим, она двигалась к горизонту и не желала останавливаться. А небо алело. Алело, загораясь трещинами вместо звезд.

Элеорд откуда-то знал: в черноте он остался один, – поэтому не пытался никого звать. А потом он обернулся и увидел единственную не тронутую чернотой раму, серебряный прямоугольник из переплетающихся цветов, но внутри не было картины – только ослепительно голый холст, где можно писать что угодно, кого угодно, нашлись бы краски и кисти. Элеорд не мог объяснить этого, но, именно увидев пустоту, он ощутил, что все кончено, вскрикнул и очнулся. И тогда здраво спросил себя: «Что кончено?»

День близился к середине, воздух подрагивал от зноя, небо напоминало плоскую тарелку из «больной» – побывавшей недавно в руках мертвеца – бирюзы. Слуги бездельничали, и только слабые запахи жарящейся рыбы и розмарина обещали: без обеда никто не останется. Элеорд встал, привел себя в порядок, насколько мог в этот ленивый час, и уверился, что Идо нет. Наверное, он задержался в храме. Скорее всего, лихорадочно наносил там последние штрихи, а может, как ему и велели, говорил с архитектором. Главное, чтобы она не слишком его мучила: бедный мальчик до сих пор терялся, когда на него внезапно обрушивалось слишком много делового внимания.

Элеорд уже жалел, что не составляет ему компанию: все равно ведь не знал, чем занять себя в день, который сам же назначил выходным. Так бывало часто: он работал, обгонял поставленные самому себе сроки, а потом беспомощно озирался, когда его обступало внезапно высвободившееся время. Элеорд стал, видимо, уже староват, чтобы с ходу занимать себя. Он развлекался: ходил на театральные представления, пил в тавернах, отправлялся на конские, собачьи, петушиные или еще каких-нибудь тварей бега, – желая только развлечь Идо, увидеть его улыбку и услышать смех или азартные крики. Ведь тот, хоть и был моложе на пару десятков приливов, отдыхать умел еще хуже. Слишком много работал, мало жил, еще меньше – радовался жизни.

Элеорд не удержался и заглянул в его незапертую мастерскую, вызолоченную светом. Идеальные скульптуры богов и героев толпились в углу и словно молча переговаривались, а вот картины все были повернуты к стенам. Элеорд вздохнул. Непроданные работы Идо хранил только так; он не любил и, хуже всего, не ценил свою живопись, хотя она была великолепна. Что-то Элеорд забирал, чтобы повесить в доме или подарить очередному влиятельному лицу с парой многозначительных рекомендаций; остальное же... С остальным он неизменно поступал одинаково бессовестно, хотя и знал: Идо будет потом сердиться.

Вот и теперь Элеорд терпеливо прошелся вдоль стен и развернул все восемь обиженных картин лицом наружу. На него смотрели забудковые луга на рассвете и болота в лиловых сумерках; мертвая водная дева, привязанная к чьему-то якорю; красочная толпа, встречающая корабль под звездным небом, зеленый розовобрюхий попугай на плече лохматого рыжего разбойника... с последней картины глядели члены графской семьи. Надо же, Идо и это успел, а ведь у него не было времени. И, кстати, удачно вышло, небывало удачно для портретов не с натуры.

Элеорд с детства так тренировал память Идо, да и свою заодно: они шли на торжество или представление, выбирали кого-нибудь броского, а дома, по свежим впечатлениям, писали портреты. Идо в последний раз взвалил на себя трудную задачу, выбрав разом всю графскую семью... и, видимо, был недоволен, раз отвернул картину и даже не сказал, что завершил ее. А зря – все четверо вышли похожими, а главное, очень настоящими, с пойманными характерами. Остериго, чье лицо повторяло завораживающие лики древних воинов и оттого казалось пресным: преобразался Соляной граф только смеясь – сверкая глазами, показывая жемчужные зубы, откидывая кудрявую голову. Красавица Ширхана, щурящаяся и поджимающая красные губы так, словно даже воздух недостоин касаться их. Юный Эвин, вздернувший подбородок и пытающийся повторить естественно-гордую позу отца. Чуть в стороне – бледный Вальин. Элеорд надолго задержался на нем взглядом. Если всмотреться, красивый ребенок, беленький, с умными глазами цвета грозы... но, разумеется, Идо его не пожалел, не забыл язвы на висках и тонкие пальцы беззащитно опущенных рук-веточек. И все же Элеорд улыбнулся, коснувшись пальцами – тоже тонкими, но куда более крепкими – края картины.

– Светлый мой, – пробормотал он, думая уже не о Вальине, а об Идо.

Судьба его могла сложиться не лучше: маленький Идо жил, как не пожелаешь ребенку. Основным занятием его было воровать что-нибудь с рыночных прилавков, вторым – драться с такими же воришками, а третьим – убегать от тех, кого обокрасть или побить не удавалось.

Смуглый, ладный, он отличался острой цепляющей красотой – такая ценилась людьми порочными. Неудивительно, что он опасался каждой тени и никого не подпускал к себе, сколь бы добрые намерения ему ни демонстрировались. «Я вообще не умею верить, – как-то сказал он позже. – Ну, людям. И не хочу учиться».

Элеорд вряд ли заинтересовался бы им, если бы целых три раза случайно не увидел, как Идо рисует, – и всегда тот рисовал фексов, красных крылатых лис, на одной стене за белокаменными рыночными бараками. Он удивительно ловил движение, а ведь именно оно труднее всего дается даже тем, кто долго учится живописи. Нужно приливами изучать анатомию и практиковаться в скульптуре, чтобы и на рисунке добиться пластичности и порывистости, а мальчишка просто брал – и рисовал, наверняка ворованными красками. Всякий раз лисиц стирал кто-то из хозяев бараков, но они появлялись снова.

На четвертый раз Элеорд захотел как-нибудь познакомиться с загадочным бродяжкой. Он уже понял, что подойти просто так не получится, и придумал план: пришел к стене пораньше, захватив дорожную коробку красок. Он не опасался нареканий, встав к прогретой зноем стене и начав рисовать: нашелся бы с ответом, ну или бросил бы владельцу барака пару монет. Ему – человеку творческому и богатому – вообще многое в городе прощалось; возможно, ему даже *подобало* быть чудаком, иначе в нем могли и разочароваться. И все же он ощутил что-то вроде трепета – детского трепета взрослого, который совершенно отвык делать необычные вещи. Элеорд ди Рэс уже был знаменит. Он писал портреты, расписывал купола храмов, создавал фрески для дворцов и обновлял их на обычных домах... но просто рисовать на грязной барачной стене, под недоуменными взглядами спешащего народа с корзинками, скотиной, ведрами рыбы и баулами... в этом что-то было. Элеорд ненадолго забыл даже об изначальной цели. Он нарисовал одного фекса, второго, третьего – они летели следом за Моуд, ведь, по легендам, они были именно ее спутниками. Силуэт самой богини уже проступил на штукатурке, когда...

В стену рядом ударился булыжник, с сердитым стуком бухнулся в пыль. Элеорд, вздрогнув, обернулся, и на него сверкнули яркие синие глаза. Оборванный тощий мальчик, чьего имени он тогда не знал, стоял в нескольких шагах и глядел в упор – зло, настороженно, любопытно? Элеорд улыбнулся. План, похоже, удался. Отец – а отец служил начальником городской стражи, с бродячими мальчишками дружил, часто использовал их как глаза и уши в расследованиях – одобрил бы, если бы был жив.

– У тебя так плохо с меткостью или ты просто хотел привлечь мое внимание? – тихо спросил Элеорд. – Привет.

Мальчик только склонил голову; на грязный лоб очаровательно упали несколько густых прядей. Похоже, он растерялся оттого, что с ним вообще заговорили, да еще вежливо, да еще поздоровались. Он молчал. Элеорд все не решался сделать к нему даже самый маленький шаг: а ну как сбежит или, наоборот, швырнет камнем пометче?

– Я Элеорд ди Рэс, – мягко представился он и даже поклонился. – Мне понравились твои лисы. Так что я захотел нарисовать своих. Ты не против?

Мальчик молчал: наверное, начинал уже побаиваться странного болтливого чужака. А может, все-таки злился и просто не понимал, не опасно ли об этом заявить. Элеорд вздохнул. Он больше не был уверен, что идея так уж хороша. Как минимум она оказалась сыровата. Что бы сделал отец?... У отца все получалось просто: сорванцам он давал монетки за каждое поручение, кого-то мог угостить пирожным или яблоком. Но там было иное: к маленьким осведомителям он искал пути долго, приручал их, как зверьков. Остро вспомнилось вдруг: когда потом отца хоронили, целая процессия их – этих голодных, грустных оборвышей – шла за паланкином, в котором несли его тело и тело матери. Человеку, не осведомленному о методах Орлока ди Рэса, могло бы показаться, будто у покойной пары было феноменальное потомство всех цветов, рас и возрастов. А сам Элеорд – родной сын – от горя настолько ослаб, что мог

тащиться только в самом конце, и то еле передвигая ноги. Про себя он отчужденно удивлялся одному: бродяжек не отпугнул мор. Чтобы проводить благодетеля и не навлечь гнев властей, они даже нацепили на лица грязные тканевые маски, которые в тот прилив носили по всем Равнинным Землям.

– Если хочешь, – с усилием вырвавшись из прошлого, снова заговорил Элеорд и медленно опустил на землю коробку с красками, – я могу оставить их тебе. Твои наверняка кончаются.

Наконец он, кажется, подступился с правильной стороны: мальчик перевел на коробку глаза, облизнул губы. Краски были очень дорогими, он наверняка это понимал по резной деревянной коробке, по золоченому замку в виде узора из священных треугольников. Но Элеорду совершенно не было их жаль. Он не путешествовал праздно, а если ездил по работе, то в пути не рисовал, освобождал голову, сонно созерцая пейзажи и лица. Путешествовать для удовольствия и вдохновения ему было не с кем.

– Я пойду, – произнес Элеорд и опять улыбнулся, на этот раз смущенно. Ответное молчание подавляло его, он окончательно уверился, что сглупил, и ругал себя на чем свет стоит. Где ему сравняться с отцом в доброте и обаянии? Он и в детстве-то с трудом сблизился с людьми. – Извини, если напугал. Не думай, что смеюсь над тобой, наоборот. А краски возьми, ты талантлив. Не забрасывай. Удачи.

И он пошел – не навстречу мальчику, а наискосок. Он не чувствовал разочарования, скорее смутную досаду, и досаду эту усиливал незавершенный образ Моуд на стене. Он хотел прорисовать волосы, добавить ореол... неважно. Еще больше он хотел другого, но с этим, видно, не сложится никогда. Знаменитый Элеорд ди Рэс умеет множество вещей, но только не заводить друзей. Поклонников, покровителей, врагов, подражателей, кого угодно, но не друзей, увы. И поделом, нужно было принять это еще в детстве, когда отец, недовольный увлечением живописью, запрещал дружить с детьми художников, а мать отгоняла тех самых бродяжек, боясь, что «любимый, особенный Эли» чем-нибудь заразится или наберется дурных манер. Элеорд закусил губу, зачем-то пытаясь вспомнить разномастные лица папиных помощников. Не было ли среди них кого-то похожего на этого мальчишку? Значения это не имело, но чуть-чуть отвлекало. Шаг, еще шаг.

– Они же были уродливыми! – Это донеслось в спину, так неожиданно и недоверчиво, что он едва не споткнулся о выбоину. – А ваши такие красивые!

Элеорд обернулся – быстро, наверняка несолидно, как ужаленный. Мальчик уже стоял у стены и кончиками пальцев изучал лис: изгибы спин и хвостов, острые морды, белое оперение крыльев. Он не глядел на рисунок – только водил рукой, словно слепой. А смотрел он на Элеорда, теперь – почти умоляюще, но все равно дико, жгуче, упрямо.

– Что?... – переспросил Элеорд. Под этим взглядом он слегка потерялся.

– Лисы, – терпеливо пояснил мальчик, ударил по стене ладонью и продолжил с неожиданной злостью: – Я рисую, как *чувствую*, и они не получаются. Никогда.

– Получаются, еще как, – возразил Элеорд и улыбнулся, собираясь добавить: «Это меня и привлекло», – но его не услышали.

– Научите меня! – выпалил мальчик. – Научите как вы! Я... – он запнулся, – я украду для вас что-нибудь. Хотите... – он заметался взглядом вокруг себя почти панически, – хотите настоящую лису? Ими торгуют, как и другим зверьем.

И тут Элеорд не удержался, захохотал: вот это да, никто никогда еще не делал ему таких смелых и трогательных предложений. Мальчик осекся и нахмурился, затеребил свои лохмотья. Явно решил, что смех презрительный, и ошетинился снова.

– Что?... – Он выплюнул это почти яростно.

– Не надо, – мягко попросил Элеорд, даже приподняв ладони перед грудью. – Не надо ничего красть, я и так согласен. Но... – И кто потянул его за язык? – Только если ты поживешь у меня. Как живут другие мои ученики. Так выйдет проще и быстрее.

Он понимал, как это прозвучит, и не ошибся: мальчик насторожился. Настораживались все, да что там, в детстве он настораживался и сам, слыша о неродных детях, живущих со взрослыми мужчинами, пусть даже очень талантливыми, пусть кажущимися хорошими людьми. Да и отец принес со службы не один мрачный рассказ о том, чем иногда чреватые такие «благородные и бескорыстные» предложения гениев.

– Для чего вам пускать меня в свой дом? – Его глаза сузились. – Я не.

– Ни для чего, чего ты боишься, – не желая даже гадать, какая отповедь может крыться за «я не...», ровно откликнулся Элеорд и развел руками. – Увы, добрых намерений мне тебе не доказать, безобидности тоже. Поэтому сделаем иначе. – И он назвал свой адрес, добавил: – Приходи, когда решишься. Если решишься. Я буду рад, я правда хотел бы с тобой поработать. А пока прощай.

После этого он снова пошел прочь, не оборачиваясь. На сердце стало удивительно спокойно, настроение как-то поднялось. Даже если не срастется... славный мальчишка, можно ведь будет просто помогать ему потихоньку, чтобы точно не боялся и не выдумывал лишнее. Например, оставляя здесь иногда деньги, еду, кисти или.

– А краски? – мальчик спросил это уже иначе – растерянно, почти пролепетал.

Элеорд и сам не знал, почему грустно улыбнулся и почему в памяти снова ожила стайка детей в грязных масках до самых глаз. Оборачиваться он не решился.

– Оставь. Пригодятся.

Элеорд не удержался и снова прошел мимо стены в тот же вечер. Идо дорисовал богиню – и сделал это хорошо. На следующее утро рисунка не было. Еще через два дня Идо постучал в дверь. Возможно, это было связано с тем, что наступило долгое ненастье, а на площадях начались облавы на воришек, но, возможно, нет. А позже он так и не ушел.

С тех пор прошло несколько приливов. Идо давно перестал красть и выучился множеству вещей; его талант расцветал стремительно, и не случайно безродный мальчик был единственным из учеников, кого Элеорд приютил на постоянной основе. Периодически у него жили многие, первые последователи намертво сели на шею уже в день приезда, наслышанные о «заморском Мастере»... но вырос на его глазах только Идо. И только об Идо он думал почти каждую свободную от рабочих мыслей швэ<sup>5</sup>. Особенно – когда переворачивал картины.

Идо и сам полюбил его за долгую жизнь под одной крышей. Идо полюбил все, что с ним было хоть как-то связано, порой эта любовь достигала поистине пугающих, каких-то фанатичных пределов. Элеорд дорожил этой любовью, которой совсем не ждал в первые дни, когда мальчик не мог поддержать совершенно праздный разговор о погоде, шарахался от одного только слишком долгого взгляда, жался к стенам, ночевал в садовой беседке, откуда в случае чего рассчитывал, видимо, убежать. Увы, даже преодолев все это, Идо не полюбил другого человека. Себя. И это не давало Элеорду покоя.

Может, храм, расписанный вместе, что-то исправит? Ведь когда граф Энуэллис и рыжая красавица Сафира обратились к «знаменитому ди Рэсу» с просьбой поучаствовать в безумном политическом решении, он выдвинул единственное условие: «Со мной будет работать мой любимый ученик». О том, какие последствия это решение может повлечь, если недоверчивый, крепко держащийся за традиции народ скажет свое слово, лучше было не думать, но... Они справятся; что бы ни случилось, справятся. Да и вряд ли кто-то тронет их, людей довольно маленьких. Отец бы скривился, узнав, что сын думает о себе в подобных выражениях... но Элеорда это устраивало. Да, он был *маленьким человеком*. Как и большинство. А если думать действительно широко, все люди, что коронованные, что просящие милостыню, очень малы под огромным небом. И даже под сводами достаточно просторного храма. А он, Элеорд, как

---

<sup>5</sup> Швэ – в мире Двух Морей единица времени, равная примерно полутора минутам. Понятия «минута» в мире нет.

минимум может подняться под самый купол и сделать его прекраснее. И Идо он этой возможности не лишит.

Элеорд еще раз прошелся вдоль картин, покосился на грозную толпу белых пустоглазых скульптур и вышел из мастерской. День выдался восхитительный, его стоило провести на балконе, за хорошим вином. Оно, особенно розовое, славно уродилось в этот теплый прилив, а в следующий обещает быть еще лучше.

И, разумеется, лучше взять два кубка, ведь Идо скоро вернется.

\* \* \*

Эльтудинн вышел из шепчущегося круга раскрошенных каменных обелисков, шагнул в коридор хмурых сосен и, не оглядываясь, устремился прочь. Зеленые тени упали на него со всех сторон, запах смолы и хвои защекотал ноздри, под ногами захрустели ветки. Раз или два его позвали. Он не ответил. Если бы кто-то посмел увязаться следом, то недосчитался бы головы, но благо, собраты знали его уже достаточно.

Постепенно зычные голоса чуть притихли: древний могильник остался далеко позади. Высокие деревья сменились юной порослью, под ее ветвями запестрели цветы. Дышать стало легче. Нетвердо, едва переставляя ноги, Эльтудинн достиг бегущего вдоль лесной кромки ручья, остановился и здесь наконец упал на колени.

Погрузив в воду руки, но не делая ни движения, он следил, как ледяной поток багровеет, мутнеет и тут же вновь становится чистым, а его собственная кожа – черной, привычно черной без глужих кровавых пятен. Что для быстрой воды одна звериная смерть, один тонконогий олененок с янтарными глазами? Что для быстрой воды жрец, покинувший «поганое место» после жертвы своему божеству? Что для быстрой воды клубок злых мыслей у жреца в голове?

Эльтудинн попытался поймать в ручье свое отражение, но поток спешил так, что оно рябило, дробилось, распадалось. Впрочем, Эльтудинн вообще в последнее время скверно помнил и понимал себя, а от долгого взгляда в воду у него начинала кружиться голова, слишком многое в нее лезло, становилось тошно. В конце концов он просто зажмурился, с силой плеснул себе на лицо, а потом запустил пальцы в спутанные длинные волосы и оскалился в пустоту. Это стало невозможным. Невыносимым. Снова, в который раз, захотелось бежать, бежать, бежать как можно дальше. Уничтожая все на пути.

Он отлично знал: жрецами становятся люди совсем другой судьбы. Например, бедные дети, которых негде воспитать, кроме как при храме; или несчастные больные, которым, чтобы выздороветь, нужна особая милость; или уродливые пироланги: этот народ, по древним легендам, с ледяными сердцами, хорошо слышит небесные голоса и не знает страстей. Путь жреца труден и почетен, но путь жреца не для всех. Кто отдаст в жрецы графского сына, отмеченного звездами и способного острейшей саблей рассечь что валун, что живую плоть? Кто напишет такую судьбу для человека сильного, здорового и имеющего все права на трон вслед за отцом? Кто?... Эльтудинн открыл глаза и хрипло прошептал свое имя. На ладони загорелась алая гербовая метка – ветвь чертополоха, гордый цветок в острых листьях. Знакомый, привычный... здесь не имеющий никакого веса. Эльтудинн смотрел на свою ладонь, не моргая, до рези в глазах, пока рисунок не погас. Тогда он сжал кулак.

Кто так изуродовал его судьбу?... Безродный брат покойной матери, предатель и убийца. Ничтожество, идущее к закату, но окруженное сворой молодых верных псов из стражи. Ничтожество, которому просто повезло: в один из давних фииртов<sup>6</sup>, на балу, он вовремя вскружил голову принцессе Иулле, старшей дочери верховного короля, и взял ее в жены. Безродный. Безродный, даже лишенный метки! Никогда, ни за что король не дал бы добро, если бы дочь

---

<sup>6</sup> Фиирт – холодное время, зима в мире Двух Морей. Наступает ровно в середине первого полукруга, до Большого отлива.

при всех гостях не упала ему в ноги со слезами, не взмолилась бы: «Дай мне уехать с Шинаром, пожалуйста, дай! Сестра вышла по любви!» Белая, хрупкая, светловолосая, она так льнула к выбранному черному чудовищу... Черному. Никогда Эльтудинна не отвращали собственный цвет кожи, золото глаз, острота зубов и ушей. Пока однажды, уже повзрослев, он не осознал, что дядя, казавшийся поначалу чудаковатым, ветреным, излишне щеголеватым, но вполне безобидным, из себя представляет.

Теперь каждый раз, как звучало имя Шинар Храбрый, Эльтудинн задыхался от ярости. Дядя Шинар не был храбрым. Дядя Шинар умел только цедить яды, лгать и льстить. Первое ввергло в долгий недуг и затем отняло жизнь у прежнего графа, отца Эльтудинна; второе отправило в гибельные путешествия за лекарством его братьев, а последнее расположило короля. Только против старшего племянника дяде не помогло ничего из хитростей и умений. Эльтудинн не поехал искать *то – не знаю что*, сразу заподозрил неладное: кто и почему мог проклясть славного отца, чем он мог заболеть так резко? Эльтудинн предпочел остаться рядом, чувствуя: не просто так дядя вызвался самолично хлопотать у постели. Эльтудинн тоже ухаживал за отцом, и внимательно наблюдал, и готов был поймать дядю за руку при малейшем подозрительном движении. Не поймал. Поздно он понял, что благоухающая мятой вода, которой отцу обтирали лицо, тоже была с ядом: когда из миски, оставленной на полу, случайно попила дядина кошка, белая как снег и глупая как пробка. Тогда-то Эльтудинн и бросился на дядю с саблей наголо. Тогда-то, пока длился отчаянный поединок, отец и уснул последним сном. Тогда-то и выяснилось, что доказать ничего не выйдет: миска опрокинулась, вода расплескалась, а кошка... кошка умерла от жары, слишком она была толстая и пушистая. Поднимаясь с пола и вытирая кровь с лица, дядя улыбался. Он-то уже знал, как все обставит, и знал, что младшие дети графа Аюбара Доброго не вернуться в сераль.

Но в злые намерения старшего графского наследника никто, вопреки дядиным надеждам, не поверил: слишком хорошо Эльтудинна Гордого знали в Жу. Зато все как один решили: он, несчастный, помутился от бед рассудком, потерял себя и нуждается в том самом исцелении свыше. Так пусть заслужит его и отмолит грехи. Поэтому за попытку убить Шинара Храброго совет баронов лишь сослал Эльтудинна в жрецы. Из тропического, богатого горячими источниками графства Кипящей

Долины сюда – в соседнее Соляное, где было намного промозглее, а род Чертополоха не значил ничего рядом с родами Розы, Астры, Полыни, Колокольчика, Бузины и, конечно, Крапивы. Соляными Землями управляли Энуэллисы – крапива тянулась зеленым побегом от линии их пульса до кончиков пальцев. Они радушно приняли чужеземца и даже вроде бы поверили в его, а не дядину версию истории. Но это положение – положение *прислуги*, пусть священной! – все равно унижало Эльтудинна. Хуже было лишь бессилие от понимания: дома дядя пришел к власти и может не только удержать ее, но и передать наследнику, если успеет зачать его и если тот, не дайте боги, родится с незабудкой на ладони. Сам верховный король верит в его невиновность. А братья остались непохороненными где-то в лесах. Нурдинн, вредный и упрямый, но такой жизнелюбивый. И Ирдинн, славный, искренний Ирдинн, который ради отца презрел страх глухих джунглей, топких болот, коварных крокодилов. Ирдинн... можно ведь было его удержать. Нужно. Но Эльтудинн, уязвленный словами «Ты же никогда не был трусом, так почему не едешь, тебе настолько все равно?», отступился и даже заявил: «Верь во что хочешь, катись куда хочешь!» Дурак... стоило попробовать все объяснить прямо, сохранив холодный ум. Но тогда, пока дядя подбивал братьев к «спасительному» странствию, очевидных доказательств его двойной игры не было – лишь домыслы. Зато была робкая, жалкая, ныне постыдная надежда: вдруг дядя все же честен, а то, что за последним ужином именно он подливал отцу вино, – совпадение? Тогда нельзя отвергать помощь богов. И, разрываемый надвое этим сомнением, этой недоумершей верой в извечную правоту и безгрешность старших членов семьи, Эльтудинн погубил всех.

*Ime shana Odenoss t'ha osire Sar. Ime aga Odenos t'ha osire Der.*

«В снах дурных ищи знамение. В сне последнем ищи приют».

Так пели за спиной во славу Короля Кошмаров, но Эльтудинн не мог, больше не мог это слышать. Тягучий псалом, прежде успокаивавший, сегодня мучил как-то особенно.

Эльтудинн снова поднялся, покачнулся и пошел прочь – не разбирая дороги, лишь бы подальше от голосов. О чем, о чем можно опять молить Короля Кошмаров? Чтобы он наконец оборвал жалкое существование изгнанника? Чтобы наслал дурной сон, в сравнении с которым это существование покажется чуть слаще? Да и какое, какое божество, хоть немного уважающее себя, станет принимать кровавые подачки из дрожащих рук на заросшей желтым мхом поляне, среди растрескавшихся косых камней, призванных заменить стены? Божествам строят храмы. Настоящим божествам должны строить храмы. Давно пора было уравнивать их всех. Может, тогда однажды он, Эльтудинн, сможет хотя бы найти трупы Нурдинна и Ирдинна? Ирдинн... в каждом кошмаре он раз за разом погибал то от укуса змеи, то в ее удушливых объятьях, то в пасти крокодила, то от пули или ножа в спину. И каждый раз, умирая, он успевал посмотреть брату в глаза и попросить об одном и том же.

«Обними меня, мне так страшно».

Мысли, воспоминания, болезненные призраки всё роились в голове. Эльтудинн шел, спотыкаясь о коряги, цепляясь лапами одеяния за голые ветви. Он шурился в темноту и видел иногда сов с глазами такими же золотыми, как у него самого. Он шел, пока голоса других жрецов совсем не затихли, а впереди не разверзлось болото – заросшее брусникой, а оттого скорее алое, чем густо-зеленое. Здесь плыл смрад и плясали редкие лучи заката. Эльтудинн остановился, точно кто-то поймал его за руку. Снова упал на колени – будто его толкнули в спину – и начал молиться. Он не покрыл головы капюшоном. Не надрезал мизинец, не окропил кровью лоб. Он даже не пал ниц, а стоял на коленях прямо, качаясь подобно висельнику и глядя на ягоды и трясину под ногами. Но он молился как никогда.

О том, чтобы все наконец кончилось. Чтобы замолчали глупые молодые жрецы, привыкшие нести жертвы в «поганые места». Чтобы медленнее бежали безумные ручьи; чтобы подлые правители умирали под тяжестью корон. Чтобы слово «справедливость» перестало быть пустым звуком, чтобы открылось единственное зрячее око Дараккара Безобразного, чтобы двадцать с небольшим приливов – двадцать приливов, которые Эльтудинн успел увидеть, – перестали казаться концом, ведь они составляют лишь треть отведенной нуц жизни. Двадцать... в двадцать только начинают жизнь. А ему уже хочется уснуть навсегда. *Osirare aga Der.* Найти последний приют.

...Он упал и пролежал какое-то время в тяжелом, душном беспомыслии, а потом вернулся к могильнику. Небо уже серело, и можно было с другими жрецами, оживленными и взбодраженными пролитой кровью, возвращаться в Ганнас. Служители Вудэна – темные фигуры в расшитых перламутровыми пластинами хламидах, все как один, – оседлали вороных жеребцов и двинулись через лес прочь. Эльтудинн мчался первым, отрешенно слушал, как свистит ветер в свином черепе у него на шее. Очередной день не принес ни хорошего, ни дурного, а вот следующие обещали перемены.

У моря Эльтудинн сразу увидел яркую фиолетовую свечу. Ее зажгли в высокой филигранно-черной башне; над огоньком угадывался купол, а рядом еще два, поменьше. Она загорелась впервые. Значит, все внутри храма, видимо, почти готово. Хорошо.

Эльтудинн сомкнул ресницы, и такая же свеча запылала вдруг в его сердце. В этот миг он отчетливо понял, что однажды вернется домой и всё исправит. Любой ценой.

\* \* \*

Мастер не спал – выбрался на пестрящий виолами и базиликом балкон. Там, за перламутровым столиком, он попивал вино из кубка, а второй стоял выжидательно пустым, сверкая гранями голубого хрусталя. Мастер вытянул длинные, точно у болотной птицы, ноги, откинулся на спинку кресла и зажмурил глаза. Подбородок его, как обычно, неаккуратно выбритый, был поднят. В позе виделось тоже что-то птичье, а может, кошачье. Мастер любил свет Лувры, и, когда поднимал голову, богиня словно ласкала его узкое бледное лицо пальцами. Идо не сомневался: Лува к Элеорду равнодушна.

– О мой светлый, ты довольно быстро вернулся! Составишь компанию?

Идо пересек прохладную, тонущую в синеве залу, где обычно собирались гости, и вышел на балкон – назад в знойное море, пахнущее морем. Оно все никак не таяло, хотя небо уже чуть потемнело, а часть облаков налилась лиловым серебром. Золото же все досталось шпилям и окнам, а местами украсило черепицу, сточные трубы и флюгера. От панорамы трудно было отвести взгляд: казалось, город ожил и, словно принц или принцесса, принаряжается к встрече со звездами. Кончики пальцев потеплели, их закололо: так у Идо часто бывало, когда приходила идея для картины. Звездный король, его каменная возлюбленная, ну или возлюбленный. Короткие швы между закатом и сумерками, когда эти двое могут встретиться. Идо встряхнул головой и торопливо впился ногтями в ладони: нет. Тут потребуются такая работа с цветом и двойной образностью, которая ему не под силу. Он все только испортит, лучше идее остаться идеей.

– Да... – только и выдохнул он, делая шаг к свободному креслу. – Привет.

Мастер окликнул Идо не глядя, не глядел и сейчас, хотя и переменял расслабленную позу: выпрямился, подался к балконным перилам.

Серо-голубые чужеземные глаза приковались к улице, по которой двигались прохожие и транспорт, далеко не такие нарядные, как пейзаж. Вон колыхается телега, полная лимонов... а вон бежит мальчишка, у которого под мышкой удивительно добродушный, толстый павлин с волочащимся по земле хвостом. Пятнистые щенки играют в пыли с чьей-то зеленой шляпой. Стражник-нуц в голубом плаще береговой охраны явно устал после смены, плетется к таверне. По мнению Идо, Ганнас никогда особо не мог похвастаться интересными зрелищами. Но копошение букашек всегда занимало Мастера, и неважно, где букашки возились – в траве, в грязи или тремя этажами ниже. В их перемещениях он каким-то чудом находил и успокоение, и вдохновение. Похоже, нашел что-то и сейчас.

– Как ты спал, Элеорд? – Идо осторожно присел.

Мастер давно заставил говорить ему «ты» и звать по имени, но в мыслях остался Мастером. Каждое «ты» словно царапало горло: как, как можно так с *ним*? Еще только приучая Идо к этому, Элеорд ласково ворчал: «Мы слишком близки и знаем друг друга слишком долго, ну а формальности я ненавижу с детства». Конечно, он не понимал, насколько далеким остается и насколько это расстояние справедливо. Сократить его, возмнив о себе слишком много, было бы преступлением.

– Нормально, Идо. – Мастер, отвлекшись от уличных картинок, пристроил острый локоть на столе и другой рукой взял кувшин с вином. Заходили под кожей голубые беспокойные жилы, в жесте почудилось что-то нервное. – Хотя ты же знаешь, меня слабо освежает дневной сон, Король Кошмаров все еще меня не жалует, как я ни стараюсь с нашим храмом... – Он все же усмехнулся в своей обычной манере: только правым краем рта. – Но неважно, рано или поздно мы поладим. Что произошло за это время наяву?

– Госпожа Сафира приходила, – тихо ответил Идо и, пока Мастер наполнял его кубок, передал услышанные слова. Все слова, среди которых в ярком свете увидел радужный, искристый ореол брошенного «гений».

Недолго Мастер молчал. Показалось даже, что все это время он был где-то далеко и не слушал. Но наконец глаза остановились на Идо, а в углах рта проступили печальные, резкие морщинки.

– Девочка так несчастна, Идо. И, как и всем несчастным, ей свойственно возводить то, что оттеняет ее несчастье, в абсолют.

Он не шутил, выглядел все более огорченным. Не такой реакции Идо ожидал, пусть и привык к равнодушию Мастера в отношении похвал.

– Я не понимаю тебя, – признался он. – Почему несчастна? Она горит делом.

Мастер неожиданно отвел взгляд, стал смотреть на переливающийся рисунок столешницы. Синяя глубина его напоминала о вечернем море, на уголок же падало красное полукруглое пятно вечерней зари. Мастер положил туда ладонь, и свет заиграл в перстне – серебряной печатке, украшенной рисунком странного, довольно невзрачного растения. Это была хрупкая трава с соцветиями-каплями, Мастер звал ее по-древнему *briza*, но чаще на современном языке – «плач кукушки». И рассказал однажды, что в прошлом род его был отмечен именно ею. А потом из-за дурного поступка кого-то из предков метка просто перестала появляться у потомков. У отца и деда ди Рэсов ее уже не было, Элеорду она тоже не досталась.

– Она живет храмом нашего графа, – тускло, осторожно, словно очень боясь подобрать неверное слово, заговорил Мастер. – А ведь... это просто груды камня, Идо, приведенные в подобие порядка. Однажды они рухнут сами или их разрушат люди. Груды камня вообще не бывают вечными. И ими не увековечить любовь.

Идо не сразу нашелся с ответом, не решился даже отвести глаза от кольца. Мастер с его непостижимым видением мира часто делал так – нырял в глубину там, где довольно поверхностности. В словах был смысл, но Идо казалось, он опережает события. И определенно зря он пытался вникнуть в то, что мало его касалось. Сафира Эрбиго и граф Энуэллис... кто в светских кругах Ганнаса не знал об этой интрижке? И мало кого, кроме чванливых жрецов, она волновала. Даже верховный король, судя по всему, не переживал, что его дочери изменяет муж. Наверное, на такое он смотрел примерно как предшественники: да пусть кто угодно изменяет кому угодно и с кем угодно, пока не рождаются лишние дети. Насчет такого граф был осторожен, сам понимал: хватит ему Эвина, Вальина и ребенка, которого они должны, обязательно должны в ближайшее время наконец зачать с Ширханой. Раньше, чем в Жу это сделают Шинар с Иуллой. За этой «битвой младенцев», как издевательски звали борьбу за наследство короля многие жители Общего Берега, знать наблюдала уже несколько приливов. Но раз за разом Иулла рожала мертвецов, а Ширхана не беременела вовсе.

– Зато белые фрески прекрасны. – Идо решил перевести разговор на то, что волновало его куда больше аристократских сплетен. – И чем бы ни руководствовалась архитектор, ты поработал отлично, они получились гени.

– Пей вино, Идо, – непреклонно, явно не желая слышать этот комплимент, оборвал Мастер и снова поднял голову. Свет заиграл на его почти бесцветных ресницах. – Посмотрим, – прибавил он после промедления, и очередная тень улыбки, лукавой и словно подначивающей, пробежала по узким губам, – что скажет она о черной капелле. О Короле Кошмаров в иной ипостаси.

– Я... о, я... надеюсь...

Но слова потерялись, а сердце зашло. Нет, нет, только не об этом! Идо безумно волновался, безумно боялся мгновения, в которое все увидят черные фрески. Ведь сам он сразу же осознает: Мастер затмил его, как всегда. Пора привыкнуть, смириться... а все равно, со встречи в детстве, со дня, как увидел чужих лисиц на своей стене, Идо так и не смог. Безум-

ный гений чужого совершенства раз за разом достигал его, раз за разом пронзал острым горячим ножом. Пронзал до ослепляющего восторга, глубокого горя и темной обиды. Обиды не на Мастера – на себя и богов.

Мастер, как обычно, ничего не заметил, наслаждаясь светом.

– Она и их назовет гениальными, Идо, – произнес он скупающе. – И если уж помиловать это пустое, выдуманное кем-то явно недалеким и высокомерным слово... – правый уголок его рта опять дрогнул, – она будет права, не сомневаюсь.

– Нет... – вырвалось прежде, чем Идо бы себя остановил. Он не сомневался, что выглядит жалким, несчастным, и даже не стыдился этого, опять разглядывая травяные «слезки» на чужом перстне. – Нет, Мастер, не сравнивайте, даже не пытайтесь.

– Сравню, – отрезал тот, потянулся навстречу, и жесткие пальцы коснулись подбородка Идо, заставили поднять глаза. – Сравню и буду сравнивать все чаще, ведь подумай сам – какой иначе из меня учитель?

«Лучший на свете. Самый жестокий на свете». Но Идо молчал, заставляя себя не отводить взгляда. Ощущение того, насколько он ничтожен, уже почти душило. Как, как можно настолько верить в него? Мастер ведь верил, впустую он бы такого не сказал.

– Ты лучший мой ученик. И, как мне сейчас кажется, именно тот, – Мастер снова взял кубок, – кто может превзойти меня. – Голос его звучал без тени страха или ропота. – Может – и должен. Пусть так и будет как можно скорее. Пусть.

Идо не мог, и в этом был ужас. Не сможет, сколько бы ни старался: это не про кропотливую учебу, не про отточенное мастерство, не про увиденные приливы. Это что-то... о другом. О той самой телеге с лимонами. О пятнистых щенках в пыли. О фигуре разбойника, несущего мимо плененных товарищей свою отрубленную голову. О неверии в незыблемость камня. И новая мысль – о том, какие непосильные, неоправданные надежды на него возлагают, – обдала Идо холодом, несмотря на вечерний зной.

Он натянуто улыбнулся. Поблагодарил и пообещал, что постарается. Попытался глотнуть вина, но из-за дрогнувшей руки облил тунику, выругался, вскочил. Вечно так... уличная неловкость, никуда не денешь! Но Мастер, изящно покачивавший свой кубок в пальцах, вдруг расхохотался, так тепло, будто увидел что-то самое восхитительное в своей жизни. Очередную из бесконечной вереницы восхитительных вещей. Протянул:

– Розовое на голубом... чуде-есное сочетание. Не находишь? Совсем как это небо. – И он перевел взгляд на город так, будто больше вообще не собирался говорить.

Чувствуя, как сбивается дыхание и в бессилии опускаются руки, Идо упал обратно в кресло. Красный свет заката опалил щеки предательским жаром.

– Прости.

Новый пристальный взгляд Мастера тут же нашел его, нашел – и неожиданно успокоил вспыхнувший паникой, опечаленный разум. «Я все знаю, – словно говорили эти глаза. – Все, но мне это неважно. Почему важно тебе?»

– Пей, – сказал Мастер вслух, тихо и задумчиво. – Пей и смотри на эту красоту. Мир очень хрупок, Идо. Любуйся им, пока он цел, ведь потом будет очень больно оборачиваться.

Кубки стукнули друг о друга. И на какое-то время Идо забыл о своих фресках.

## 2. Темное время

Медузы лежали бесконечным ковром – рыхлым, бугристым, склизким. Вальин старался не наступать на них и отводил глаза всякий раз, как среди студенистых щупалец мелькали серебристые рыбки и красные морские звезды. Одно за другим он терпеливо поднимал мертвых существ и бросал в плотный вощеный мешок. Эта методичная работа даже не утомляла, зловоние не успело стать нестерпимым – только тканевая маска влажно покалывала нос. И очень, очень хотелось наконец вновь вдохнуть поглубже.

– Почему я должен делать это? – в который раз спросил Эвин, плетясь со своим мешком сзади. – Почему, проклятье?!

– Потому что это твоя земля. – Отец ответил ровно, но Вальин, всегда хорошо чувствующий его настроения, догадывался: буря близко. – Тебе править ею, Эвин. А править – это не только сидеть во дворце на заднице и раздавать приказы. Так что давай-ка порасторопнее. Если станет жарче, мы тут задохнемся.

Вальин подобрал очередную большую медузу, оторвал взгляд от гальки и решился посмотреть на отца. Тот шел немного впереди, тоже с мешком и, несмотря на зной, еще в высоких, до середины бедра сапогах. Это чтобы иногда заходить в воду и вылавливать трупы оттуда. Береговая стража, несколько десятков человек, сновавших впереди и сзади, тоже это делала. А вот Эвина с Вальином отец попросил в воду не заходить: боялся, что они споткнутся на неровном дне, упадут и нахлебаются боги знают чего. Вальин был за это благодарен: сам вид такого количества трупов под рассеянным утренним светом очень его пугал. А если еще видеть, как они плавают, чувствовать, как они с тобой соприкасаются...

– А Ширханы тогда почему нет? – продолжал ворчать Эвин. – Эта земля что, не ее?

Спина отца напряглась, бриз вздыбил смоляную копну кудрявых волос. На мгновение показалось: вот-вот зарычит или даже бросится, – но нет. Отец лишь вздохнул, наклонился, подобрал самую крупную из попадавшихся на пути рыбин и почти злобно швырнул в мешок. Но заговорил он все так же мягко, почти просительно:

– Ты же знаешь, ей нельзя. Да и наклоняться она уже не может.

Ширхана ждала ребенка, отец из-за этого постоянно волновался. Вот и сейчас не находил себе места: боялся, как бы от жары бесконечные трупы не начали смердеть по-настоящему; как бы ветер не донес вонь до замка; как бы Ширхане, и так постоянно жаловавшейся на самочувствие по утрам и пропускавшей завтраки, не стало еще хуже. В том числе поэтому отец торопился. В том числе поэтому, наверное, вызвался сам помогать страже, всюду сверкавшей голубыми плащами. Ну и потому, конечно, что подданных ободрило и успокоило присутствие графа. Вроде люди без особых жалоб выполняли омерзительную, непривычную работу, кто-то даже посмеивался и шутил.

– Поверить не могу... – пробормотал Эвин сквозь зубы, но Вальин разобрал, – я вожусь в гнилье ради нерожденного куска мяса потому лишь, что у него на ладони будет светиться забудка, а не крапива.

– Ты возишься в гнилье, – холодно возразил отец, по-прежнему не оборачиваясь. Увы, он тоже всё услышал, – потому что это твой будущий брат. Если уж для тебя не имеет значения священный долг аристократии.

– Бароны тоже аристократия, но что-то их я тут не вижу... – не отставал Эвин.

Отец все-таки обернулся. Лица его за маской было почти не различить, но глаза казались очень усталыми, а кожа заметно побледнела. Как и Вальину, ему явно плохо давалось поверхностное дыхание, призванное уменьшить риск заболеть.

– Ле Спада, например, все здесь, даже маленький. – Отец поудобнее перехватил мешок. – Но если ставить вопрос *так*, именно поэтому графский титул носим мы, а не другие династии.

Эвин фыркнул, но промолчал и, присев на корточки, начал собирать медуз, которых чуть не пропустил. Ровные брови его сдвинулись, взгляд горел обидой, и наверняка старший брат привычно кусал нижнюю губу, сдерживая новые вопросы или жалобы. Вальин попытался ободряюще улыбнуться ему, хотя бы глазами, но Эвин даже головы не поднял, как обычно, делая вид, что он единственный ребенок в семье.

Вальин постарался убедить себя, что не расстроен: так сложилось давно. Эвин был здоров, красив и боек, его рано начали готовить к трону – альтернатив даже не рассматривалось. Маленький Вальин восхищался им, не завидуя, – зависть обычно гибнет рядом с пониманием: ты слишком ничтожен, чтобы хоть пытаться что-то изменить. Он робко любил Эвина издали, а тот вяло отмахивался и звал брата «мелкая гниль», если звал хоть как-то. Потом и это прекратилось – когда однажды, в хорошем настроении, Эвин взял Вальина на охоту, а тому стало дурно из-за близкой бури. Тогда, грубо перекинув брата через седло, чтобы вернуться домой, Эвин шипел сквозь зубы: «Ты все равно уже почти подох. И что я?» Вальин слышал это сквозь шум в ушах и топот конских копыт, но не мог ответить, содрогаясь от рвоты и кашля. Когда удавалось хоть как-то повернуть голову, он видел только злой острый профиль брата и копну его иссиня-черных волос, развевающихся по ветру. Странно... но ему было не жаль себя, а вот Эвина – да. Тот попытался через себя перешагнуть, хотя – любимый сын, будущий правитель – не обязан был. Попытался и не смог, впервые в жизни чего-то не смог, а вдобавок получил выволочку от отца. После этого братья почти не общались, даже когда Вальин выздоровел. Наверное, Эвину правда было проще его не замечать – ни на праздниках, ни за трапезами, ни даже среди мертвых медуз. За исключением редких моментов, когда хотелось на ком-нибудь сорвать раздражение.

Вальин понял, что за ним наблюдает отец, и, преодолев застенчивость, послал улыбку ему. Видно, это было вовремя: померкшие глаза зажглись благодарностью, такой редкой и дорогой. А потом отец, точно что-то решив, легонько пошевелил левой рукой в плотной кожаной перчатке. Безмолвное «подойди ближе». Вальин, подобрав пару пропущенных трупов, скорее подскочил.

– Устал? – мягко спросил отец, опуская ладонь Вальину на плечо, и тот спешно помотал головой. – А чувствуешь себя нормально? Ветер отвратительный...

– Все хорошо, – ответил Вальин, тут же поморщившись: маска прилипла ко рту. – Правда. Дараккар милосерден.

– Ну ладно... – тихо, рассеянно отозвался отец и прищурился вперед. – Ох. И повезло нам, да? С этим иноземцем. – Он издал что-то вроде нервного смешка. – Красиво рисует, да еще разбирается в опасных медузах. Редкое сочетание.

Вальин проследил его взгляд и тоже заметил на берегу еще две фигуры без форменных плащей. Элеорд и Идо ди Рэсы, оба в совершенно не подходящих для грязной работы бледно-синих камизах и довольно нарядных о-де-шосс, тоже собирали медуз, скрыв лица масками. Старший художник, поймав взгляд Вальина, махнул ему рукой. Вальин робко махнул в ответ.

– Да, он вроде бы... славный?

– Славный, – эхом ответил отец, повернулся и, закинув мешок на плечо, пошел в воду. Плававшая там огромная медуза сверкала розовым перламутром, как гнилая роза.

Вальин присел и попытался выпутать из комка водорослей пару мертвых крабов. Спихватился, просто подхватил этот комок и сунул в мешок целиком. Пляж решили очищать полностью. Сбирать с него все, что могло сгнить и распространить те самые ядовитые, вызывавшие мор миазмы. Не вставая, Вальин снова посмотрел на Элеорда ди Рэса, уже, судя по всему, наполнившего свой мешок. Он разговаривал теперь с начальником береговой стражи, тревожно кивая то направо, то налево. «Очень медленно, – угадывал по лицу Вальин. – Нужно спешить. И больше людей».

Им действительно повезло, что художник, к рассвету пришедший рисовать на пляж, увидел эту катастрофу и доложил о ней. После штормов на берега Ганнаса иногда выкидывало погибших морских животных, но никогда – столько и никогда – именно хрустальных медуз, вызывавших на Детеныше опасные эпидемии. Как их вообще сюда принесло? Почему они умерли, ведь штормов в последние сэлты не было. Вальин уже слышал, как стража обсуждает это. Сам предпочитал не думать, хотя предательская догадка сама просилась на ум. Просилась не ему одному. И, может, была еще одной причиной, почему отец решил помогать с очисткой берега сам. Глубоко вздохнув, Вальин поднял взгляд. Мрачный силуэт Кошмарища темнел там, над мысом Злой Надежды, в запущенном розово-персиковом саду.

– Знаешь, почему этот мыс так называется? – вдруг спросил отец. Он успел снова оказаться рядом и, отдуваясь, опустил мешок у ног. Вальин помотал головой. – Туда много дней подряд приходила одна девушка. Желать смерти капитану, за которого должна была выйти замуж, но не хотела. Узнав, что корабль его вернулся, она взяла да и бросилась вниз. И стала первой на свете водной девой.

– Почему она просто не сбежала? – удивился Вальин и тут же увидел в глазах отца грусть.

– Была дочерью графа. Не могла, от ее брака многое зависело: тот капитан был тоже из правящего рода.

– Но ведь от ее смерти лучше не стало никому.

Отец тяжело присел на корточки и опять раскрыл мешок. Теперь он старательно делал вид, что его интересует только россыпь маленьких медуз, лежащая на гальке почти правильным полукругом.

– Думаю, она просто устала от неволи, Вальин. А может, эту историю выдумали. Но ты прав, мало что хуже таких злых надежд.

К счастью, Вальину не пришлось отвечать: он просто не знал что и чувствовал себя как никогда маленьким и глупым. Не зря отец обычно с ним не заговаривал, тем более на серьезные темы. Не спрашивать же прямо: «Ты тоже... в неволе?»

– А можно я буду злым и понадеюсь, что все это скоро кончится? – вовремя вклинился Эвин, подойдя, встав рядом и гордо плюхнув на гальку свой добросовестно набитый мешок. – Правда, отец, я устал. И мы скоро так провоняем, что Ширхане будет только хуже, она может велеть дворцовой страже вообще не пускать нас домой.

Отец неожиданно засмеялся, громко и протяжно. На этот раз ворчание подняло ему настроение, а может, просто вернуло в реальность. Поднявшись и хлопнув Эвина, уже почти сравнявшегося с ним в росте, по спине, он напомнил:

– Эту одежду придется сжечь вместе с трупами! Слуги уже приготовили свежую. Скажи спасибо, что я не велю обрить вас налысо, а только тщательно вымыться!

Эвин, кивнув и буркнув: «Какая щедрость!» – зябко повел плечами. Вальин заметил, что и он перевел взгляд в сторону темного храма, на центральной башне которого еще не погасили фиолетовую свечу. Смотрел он мрачно, неприветливо.

– Как думаешь, обойдется? – Вальину почудился в вопросе очевидный намек, но, если и так, отец сделал вид, что не понял.

– Надеюсь. Мы начали собирать их рано и вроде как пока справляемся, главное, чтоб не выкинуло новых. Да и зноя нет, скоро ведь фиирт.

– Я не... – начал Эвин, но осекся: скорее всего, испугался новых ссор. Только подождав, пока отец возьмет мешок и отойдет подальше, он впервые за последний час прямо посмотрел на Вальина и почти беззвучно сказал: – Надо рушить этот храм, да? Зря они все это затеяли. Пока Вудэна не пускали в город, все было в порядке.

Вальин сглотнул: как обычно, растерялся, когда о нем внезапно вспомнили. Брат все смотрел в упор, явно ожидая поддержки, а он не знал, что сказать. Вроде Эвин озвучил его же тайные мысли и мысли многих здесь. А вроде.

– Но это просто красивое здание, если так подумать, – произнес он вслух.

Эвин ожидаемо сощурился, а под маской наверняка и скривился.

– Да брось подлизываться к отцу, аж противно. Я видел, ты до дрожи боишься этой громадины и осуждаешь ее существование, как и все другие твои святоши.

– Неправда! – выпалил Вальин, хмурясь. Что за глупости? – Мы никого не боимся, тем более не осуждаем, мы просто служим свету, а Кошмарище – не наше дело, и.

Он сам едва не хлопнул себя по губам. «Кошмарище»! Он же обещал себе оставить мерзкое, несправедливое прозвище храма только в тревожных мыслях, никогда не говорить вслух! Щеки загорелись от стыда и вины, неясно даже перед кем. Перед отцом, Сафирой, ди Рэсами, самим Вудэном? Хорошо, что румянца не было видно за маской.

– Да ты хоть был там? – вкрадчиво поинтересовался Эвин, и сам прекрасно знающий ответ. – То-то же. А я был. И Король Кошмаров там всюду, и люди тарашатся на него, разинув рты, и кровь там льется каждый день, и он становится от этого сильнее.

– Он делает много важного, так пусть и становится... – начал Вальин.

Эвин, зашипев не хуже рассерженной змеи, резко нагнулся, подобрал за хвост длинную мертвую рыбину и подsunул к самому его носу:

– Делает много важного?! И это?

– Убери ее! – Невольно попятившись, Вальин споткнулся и упал на гальку, ударился спиной. Он не то чтобы испугался, но мутный взгляд и приоткрытый рот рыбы словно отпечатались на внутренней стороне век, теперь так и стояли перед глазами.

Эвин хмыкнул, запихнул труп в мешок, а потом, вздохнув, все же протянул руку.

– Ну давай уже. Шевелись. И не говори впредь глупостей.

Вальин молча, не двигаясь, рассматривал его узкую кисть. Перчатка была вся в рыбьей чешуе. Но братья за ладонь не хотелось по другой причине.

– Если люди приносят ему жертвы, – тихо заговорил наконец он, – значит, им есть за чей покой помолиться. Или кого направить на истинный путь. А если что-то не так с природой, значит, нужно подарить фруктов Вирре-Варре, а Парьяле – жемчуга и свежих цветов. Это лучше, чем обвинять Вудэна впустую, ничего не доказав. Он может *действительно* разозлиться из-за наших суеверий и... трусости?

Эвин поднял брови. Несколько мгновений он словно бы всерьез обдумывал слова. Но вскоре оказалось, что это далеко не так.

– Когда ты уже повзрослеешь? – пробормотал он, развернулся и, подхватив мешок, помчался за отцом.

Вальин встал сам и побрел за ними. Ушибленные позвонки ныли, маска все сильнее липла к лицу, а небо все ярче наливалось неприветливой, тревожной лазурью. Мысли путались: страх сменялся обидой. Но где-то за ними маячила и надежда.

Вот бы Сафира узнала, как он защищает ее храм.

Вот бы она оценила это однажды.

Вот бы она все-таки выбрала не отца, а его, Вальина, ведь недавно открывшаяся правда до сих пор казалась глупой шуткой или чем-то временным, преодолимым.

Вот бы... но в эту швэ голосок еще какого-то чувства, ранее незнакомого, шепнул Вальину тихо, вкрадчиво и печально: «Она не может не знать об этой беде, все уже знают. Так почему же ее здесь с вами нет?»

Вальин рассеянно поднял глаза. Свеча над храмовой башней медленно меркла.

\* \* \*

Бьердэ видел, как чернолицый величественно обходит владения. Золотые глаза Эльтудинна не выражали ничего, кроме отстраненного восхищения: ни религиозного экстаза, ни

мрачного торжества того, кто вырвался с жалких лесных могильников. Впрочем, Бьердэ знал: Эльтудинн – жрец не по своей воле, это был насильный постриг за попытку стать тем, кем сын графа Аюбара Доброго – покойного правителя Кипящей Долины – являлся на самом деле. И все же поведение его настораживало, Бьердэ привык к другим жрецам. Более покорным. Менее высокомерным.

– Зачем вы здесь, маар? – Эльтудинн совершенно бесшумно оказался рядом с замершим в проходе Бьердэ. Слух резануло это «маар», ходящее в Кипящей Долине вместо «господина». В Соляном графстве так обращались только к смерти и богам. – Захотели увидеть Храм изнутри? Я слышал, вы неравнодушны к рукотворной красоте...

Неравнодушен. Более чем. Знай старейшины, что Бьердэ не раз ходил сюда полюбоваться архитектурой, они непременно бы его осудили. Не потому, что совсем не одобряли строительство храмов темным, нет. Скорее они не хотели занимать в этом непростом вопросе никакой позиции, по крайней мере пока не станут очевидны плоды или пагубные последствия. Темный храм простоял в Ганнасе уже больше полукруга. Ничего хоть сколь-нибудь знаменательного в столице за это время не произошло. Почти. По крайней мере, стоило как можно лучше убедить себя в этом.

– Храм, несомненно, красив, но сейчас меня привело другое. Рядовая вещь, в которой я прошу вашей личной помощи.

И Бьердэ без лишних слов протянул Эльтудинну зайчонка – рыжего, с длинными вислыми ушами. Отравленный сонным зельем, зверек даже не пошевелился, оказавшись в чужих руках. Ровно вздымались его поджарые бока, морда хранила спокойное выражение. Таких зайцев много жило в питомнике дворцового сада. Эти, в отличие от пятнистых, священными не считались, и в жертву Вудэну их приносили довольно часто. Но в храм дворцового зайца принесли в первый раз.

– Мне жаль беспокоить вас сейчас, когда вы только заступили, – как можно ровнее продолжил Бьердэ. – Но это жертва для графини Ширханы, она в последнее время часто видит кошмары. Впрочем, я тоже, да и многие в замке. Странная напасть.

Эльтудинн прищурился. В его когтистых черных руках шкурка словно сияла. Бьердэ вспомнилось, сколь многие теперь обходят мыс Злой Надежды стороной и запрещают детям играть поблизости. Конечно, если не знать Эльтудинна, не слышать его ровного голоса и не видеть, как он предупредителен с паствой, может показаться, что в новом храме вместо служителя – защитника и посредника в делах бессмертных – поселилась сама Тьма. Пустое, даже возмутительное суеверие, если подумать.

Эльтудинн, в конце концов, не кто попало, семья Чертополоха – одна из древнейших на Общем Берегу. Граф ни мгновения не колебался, веля возвести довольно молодого еще жреца в сан верховного. И никто в лояльной части его ближнего круга не спорил: понимали, что решение политическое. Правда, была еще нелояльная часть, примерно треть баронов. Все тот же верховный судья, и двое старых советников, и пара казначеев, и отдельные покровители светлых жрецов. Они вообще вели себя неразумно: пророчили беды, в том числе говоря с народом. То и дело вспоминали выброшенных на берег медуз, которых лишь чудом успели вовремя собрать и сжечь. Уверяли, что это только начало, а жрец-аристократ тут ничем не поможет. Особенно жрец с репутацией безумца.

– Знаете, я слышу это часто в последнее время, – столь же ровно, даже с некоторым участием отозвался Эльтудинн. – Кошмары одолевают многих, мне жаловался даже один из живописцев храма, старший.

Бьердэ не удержался. Кошмары видит и знаменитый ди Рэс с его легким нравом?

– А вам... не видится в том дурное знамение? *Прежде* такого не было. Намек был прозрачен, несвоевременен и груб, стоило промолчать. Но Эльтудинн лишь холодно улыбнулся, казалось, не оскорбившись. Он не посоветовал лучше следить за языком, хотя подобного Бьердэ,

привычный к упрекам старейшин, ждал. Ему всегда было сложно выдерживать в деловых беседах правильный тон, не переступить границ: он принадлежал к расе, считавшейся высшей и равнодушной, словно бы... не до конца. Иногда ему казалось, что сдери он шкуру – под ней окажется кто-то другой. Жадный до жизни. Заурядный. Глупый. Очень пылкий. Борются с этим «другим» было все труднее.

– Я предпочитаю не видеть знамений там, где их может не быть, маар, это вредная привычка. А кошмары – вещь рядовая, их вижу и я, даром что... служу.

И, более не размениваясь на слова, жрец величественно пошел вперед. Бьердэ последовал за ним, гадая: нужно ли извиняться или лучше просто не открывать лишней раз рта? Темное одеяние Эльтудинна было таким длинным, что подметало блестящую черную мозаику, в которой кое-где сверкали золотые фрагменты. Бьердэ то вглядывался в этот ветвящийся рисунок, то невольно поднимал голову. Фрески, фрески... восхитительные, жуткие, скалящиеся морды, милосердные лица... в притворе, ведущем в три капеллы, они не должны были привлекать внимания – но привлекали, даже теряясь в узорных побеггах крапивы. Сафира Эрбиго пожелала оставить миру напоминание, кто же дал построить первый темный храм. Эльтудинн ожидаемо свернул налево, к дверям, над которыми четко и тревожно темнела выбитая в камне надпись.

*Der ime Roktus.* «Покой во мраке».

Черная капелла впечатляла Бьердэ не меньше, чем две другие, хоть он и знал, что это ученическая работа. Идо ди Рэс слыл второй жемчужиной среди живописцев Ганнаса, а может, и всего графства. Да, купол был великолепен. И так ужасен, что здесь Бьердэ предпочел не поднимать головы. Он глядел только на жертвенник бога, раскинувшего щупальца и держащего зажженную фиолетовую свечу. Король Кошмаров, стройный, статный, человекоподобный лишь до пояса, смотрел свысока на тех, кто пришел к нему. Идо ди Рэс сделал что-то с его раскосыми глазами: они горели, отражая свечной свет.

Эльтудинн положил зайчонка на алтарь, у которого стояла глиняная ваза с букетом крапивы. Покрыв голову капюшоном, опустился на колени, сложил руки – и под сводами разнесся его зычный шепот. Диалект Моря, в грамматике мало отличный от Общего языка, но совершенно не похожий на него в произношении. Нечеловеческая песнь волн, то рокочущая, то шипящая, требующая огромного напряжения связок. Большинство пиролангов говорили именно так даже в миру: они чаще всего становились жрецами, потому их приучали к этому с детства. Сам Бьердэ рано выбрал врачевание – путь, где требовалось больше действовать, чем говорить. Диалект Моря почти резал ему слух, хотя нет, не так... скорее пугал, а сейчас особенно. Точно шепчущее создание перед ним расчеловечилось, точно ускользнуло куда-то, где слилось с сумраком, точно обратилось в сам воздух, повторяющий на одной ноте:

*In sthrave, Maaro. In dzerave, Maaro. In viste, Maaro. In mode, Maaro.*

«Не устрашай, Владыка. Не гневись, Владыка. Не приходи, Владыка. Не покидай, Владыка».

Эльтудинн все шептал, шептал – а Бьердэ думал. Сколько таких же измученных кошмарами приходило сюда за помощью? Сколько молило о последнем сне для неизлечимых родственников, любимых, друзей? Сколько раз Вудэна поблагодарили за то, что не свершился смертный приговор, пролетела мимо пуля, удалось выжить в дуэли? Бьердэ знал: вопреки суевериям, слухам и панике противников графа, часть горожан полюбила храм. И не только они; сюда приезжают уже со всего графства; понятная вера, что в великолепных стенах бог отнесется к твоей просьбе благосклоннее, чем в «поганом месте», распространяется все шире. Немало прошло времени, а работы у храмовых жрецов лишь прибавляется. И, наверное, это добрый знак. А кошмары... медузы... ссоры между баронами... все это другое. Имеет иные корни. И преодолимо.

Эльтудинн прошептал в последний раз: *Siae* – «Славься», замолк и, выпрямившись, взглядом подозвал Бьердэ ближе. В повисшей тишине вынул из-за пояса длинный нож, по лез-

вию которого вились черные лозы. Надрезал себе мизинец и окропил каплей крови шерстку лежащего зайчонка. Тот не просыпался, не шевелился, дышал ровно и медленно. В отличие от воинственного брата, Дзэда, Король Кошмаров не любил пустых страданий, не упивался властью и был предельно далек от хищного азарта. Поэтому все его жертвы умерщвлялись так, в мирном сне, ничего не осознавая.

Но когда Эльтудинн уже занес кривой клинок, когда металл поймал отблеск свечи, когда острое начало опускаться, Бьердэ почувствовал: зайчонок открыл глаза. Открыл и уставился прямо на кинжал, на черное бесстрастное лицо жреца, на фрески, с которых скалились чудовища. Бьердэ не успел понять, так ли это: клинок обрушился, брызнула кровь из перерезанного горла. Она залила металл, окропила крапиву, потекла по алтарю. Глаза зайчонка были закрыты, тело не дергалось. Рука этого жреца не знала ошибок.

– Он что... проснулся? – спросил Бьердэ и осознал, что голос упал.

Эльтудинн пристально посмотрел на него. Глаза сверкнули особенно ярким золотом.

– Я ничего такого не заметил. – Говорил он без выражения, невозможно было ни на чем его поймать. Впрочем, вряд ли он стал бы лукавить, зная, кто перед ним.

– Уверены? – Бьердэ и сам понимал, что это бессмысленно, но никак не мог отрешиться. Не дай боги, он плохо усыпил зайца, не дай боги... тогда Вудэн не примет жертву, даже от этого могущественного служителя. А принести следующую можно будет только через сэлту.

Эльтудинн пожал плечами, помедлил – и вдруг что-то вроде сочувствия опять обозначилось в его взгляде. Он не злился на навязчивость, нет, и не собирался принимать ее в штыки. Скорее сам размышлял о чем-то, что его не радовало. Тоже сомневался, что ритуал прошел гладко? Или просто в очередной раз задался вопросом, что делает здесь, в этом сани, среди чужих людей? Так или иначе, заговорил он уже куда мягче:

– Если позволите дать совет, маар, хотя кто я и кто вы... не смотрите в глаза своим жертвам. Никогда не смотрите. Все равно в последний миг они обычно закрываются. И ничего понять вы уже не сумеете.

Бьердэ кивнул, хотя не совсем понимал, как относиться к такому напутствию. Это мало походило на слова духовного лица, скорее так мог сказать... преступник? По крайней мере, тот, кто задумал преступление.

– Я подвел и вас, Вудэн озлится на вас, если вдруг... – все же начал Бьердэ, но Эльтудинн покачал головой, вид его даже стал лукавым.

– Вудэн не жаден. И даже если ваш заяц не вовремя проснулся, его заберет кто-то другой. Менее щепетильный. Например, Дзэд, Равви или Варац?

– Но это не их храм. – Удивленный Бьердэ даже заставил себя оглядеться. Нет, ничего нового, знакомые чудовища, которых мог породить только один бог.

Эльтудинн улыбнулся. Ничего веселого в улыбке не было.

– Как изгнанник могу сказать, что все мы тянемся друг к другу. И ноги сами несут нас к тем немногим счастливым, что все-таки обретают дом. Вдруг они и нас впустят?

– Что вы имеете в виду?...

Бьердэ сам прекрасно понял подтекст, и он ужасался. А Эльтудинн определенно понял, что он понял: не стал отвечать. Вытер нож, отвернулся от алтаря. Величественный силуэт его был таким черным, что сливался с фресками, горели только глаза. А заостренные уши и слегка заросшее молодое лицо придавали сходства со зверем, дружелюбным, но не становящимся от этого ближе. Не боится, что обделит Вудэна. Не считает, что, если, например, жертву заберут Воинственные Близнецы, кого-то ждет беда. А что считает сам Бьердэ? В комок каких тревог он постепенно превращается? Даже у самого него никак не получалось ответить, одно он знал: что никому ничего не расскажет. Но за беременной Ширханой будет присматривать еще введливее.

– Могу я помочь вам чем-то еще, маар?

Бьердэ медленно покачал головой и поблагодарил жреца, глядящего все так же пристально, теперь с легкой насмешкой, с неммым «о, я чувю ваш страх». Как никогда остро он подумал, что Эльтудинну тут не место, никогда он тут не приживется на тех условиях, в которые поставлен. В этом городе, в храме, среди жрецов – в нем все еще живет совершенно иная суть. И однажды она прорвется, и хорошо, если никто не пострадает. Точнее, хорошо, если пострадают лишь те, кто подлинно заслужил расплату.

– Что ж. Будем надеяться, что кошмары оставят вас, – сказал Эльтудинн, снова смиренно и участливо.

... И что они не придут наяву, как опасаются некоторые. Но Бьердэ ответил лишь:

– И все-таки этот храм великолепен.

Осталось научиться славить тьму, не боясь того, что она так близко. Граф Энзуэллис хотел, чтобы люди уважали ее, а не чтобы утонули в ней.

Эльтудинн промолчал. Бьердэ поблагодарил его и поскорее ушел, ни разу не оглянувшись на окровавленный жертвенник. Но даже на улице, в прохладной тени персиков и аромате увядающих роз, ему все мерещились круглые, распахнутые заячьи глаза, а в них – отблеск прерванного сновидения.

Говорят, звери видят сны лишь о лесах и садах. Говорят, сны эти безмятежны – кроме тех, что предвещают холода. Холода вот-вот должны вернуться на Общий Берег. О чем был заячий сон на алтаре?

\* \* \*

И звенели мечи, и дрожала земля. На одном пустыре пробивалась из пепла жгучая Крапива, другой захватывал колючий Чертополох. Всюду среди этих сорных растений торчали только кости и камни, камни и кости, и небо над ними было сверкающе-синим, огромным, немым. Оттуда глядели древние созвездия – боги глядели на погибающий Людской Сад. Слишком много трав, мало света. Камни и кости, кости и камни.

Когда-то один-единственный род забрал себе гербовый цветок самой Светлой Праматери – Незабудку. Короли те были справедливы и милосердны, храбры и заботливы, сияли и завораживали. Перед ними из поколения в поколение склонялись. Казалось бы, Незабудка мала: не задушит Розу и Персик, Бузину и Крапиву, Чертополох, Жасмин, Лилию, Полынь. Незабудка мала... но в ее лепестках само небо. А побеги стремительно разбегаются и множатся. Но однажды в роду Королевской Незабудки появился тот, кто потерялся в траве. Он цвел блекло, да и себя продолжил лишь тремя побегами, а те были столь тонки, что нуждались в опоре. Отец понимал: в этой земле им не найти ни воды, ни света. И отпустил их на поиски счастья.

Первый побег Незабудки прильнул к старому кусту Чертополоха, росшему в полной горячих источников долине. Чертополох тот был высок, черен, с огромными иглами, но настолько сух и уродлив, что однажды люди не утрастились взять и выдрать его с корнями, и разрубить на куски, и сжечь. Чертополох причинял им много бед, не подарил ни одного красивого цветка и мешал молодым здоровым побегам своего вида. Черный Чертополох заслуживал гибели. Но, вырывая его, люди так обозлились, что не заметили, как затоптали тонкую, только-только зацветшую Незабудку. Она погибла и забылась, ничего не оставив после себя, но ничего и не погубив.

Второй побег Королевской Незабудки прильнул к большому, полному жизни кусту Крапивы, росшему у моря. Цвел тот такой жгучей красотой, что им любовались, хотя, казалось бы, с чего любоваться Крапивой? И все же другие цветы тянулись к нему, даже ярчайшие не могли затмить стремительную, зеленую, как драгоценный камень, Крапиву с резными листьями. Королевской Незабудке было хорошо с таким супругом. Она, привыкшая быть холимой и лелеемой, смирилась даже, что любовь Крапивы нужно делить с его молодыми побегами, коих

народилось два: тянущийся за отцом красавец и увядающий, дрожащий от каждого ветерка урод. Незабудка прижилась с ними, а старший побег даже немного полюбила: он похож был на своего отца. Незабудка так выросла в Крапиву, что сама стала жечься, только бы никто, никто не отнял у нее любовь.

Но однажды Крапива заметил большую беду. Он понял, что свет, падающий на сад с неба, слишком ярк, многие тянутся к нему и сгорают, забывая про спасительную тень. Тогда Крапива обратился к самой Ночи. Он сказал: «Я сделаю так, чтобы Ты наступала всякий раз, как мы начнем слепнуть». Но люди узнали об этом разговоре и испугались. Они пришли и вырвали Крапиву с корнем, а с ним – и вторую Королевскую Незабудку. Она тоже погибла и забылась, ничего не оставив после себя, но ничего и не погубив.

Третий побег Королевской Незабудки был самым ярким, самым красивым, но самым маленьким. Никакое растение не хотело отвечать за столь хрупкое создание. В конце концов одно согласилось – тот самый невзрачный побег Крапивы, последний уцелевший, который успел немного оправиться и подрасти. Маленькая Незабудка попыталась прильнуть к его большому стеблю, но Крапива не позволил. Крапива не подпускал никого, с детства зная, что умрет рано и лучше ему оставаться одному. А еще Крапива не очень любил свою землю. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы кто-нибудь пересадил его подальше от морских бурь, поближе к теплым источникам далекой долины и к живущим там колючим кустам Чертополоха. Но это не было ему суждено, и он рос там, где рос, так, как мог.

Королевская Незабудка грустила с ним и даже начала его побаиваться. Но вот она тоже подросла и с высоты роста осмотрелась. Рядом с Крапивой по-прежнему, как в славные времена его отца, росло с десятков красивых цветов, многим Незабудка нравилась. Больше всего она нравилась Красной Розе, и вскоре это стало взаимно. В ночи, когда Крапива засыпал, эти двое шептались и шутили безобидные шутки о том, как странен и несправедлив мир, а ветер тихонько теребил их не похожие друг на друга листья и не мог разомкнуть неумолимо сплетающиеся стебли. Но все это только ночью. Днем Незабудка снова видела своего Крапиву, любовалась его тонкими и ломкими, но удивительно яркими листьями и раз за разом пыталась к ним прикоснуться. «Подпусти меня. Подпусти, и я забуду все на свете Розы». Но Крапива молчал. Он отрешенно слушал, как звенят мечи, как дрожит земля. И как на другом конце мира пробивается из земли Чертополох.

Последней Королевской Незабудке уготована была долгая жизнь в красивейшем саду, выросшем, правда, на обугленной земле. Последняя Незабудка многое оставила после себя и многое погубила. Пока же она только-только раскрывала бутоны и плакала, обнимая своего отца, прежде чем покинуть его навсегда.

\* \* \*

В этом зрелище – серебристое небо, рассеянное сияние из-за облаков и виноградные лозы, скованные сверкающей изморозью, – было свое колдовство. Элеорд не мог отвести глаз от золотисто-лиловых обледенелых ягод, то и дело тянулся потрогать их. Сорвал одну, кинул в рот – сладкая, почти приторная, но с непривычным, тревожным привкусом то ли земли, то ли стали.

– Мастер! – строго прошептал Идо и даже, кажется, порывался стукнуть его по пальцам. – Мастер, их, наверное, нельзя трогать.

– Нам можно, не волнуйся, – уверил Элеорд, но сам удержался от порыва съесть еще пару странных виноградин. Вместо этого попытался расправить один промерзший, потемневший листок, но тот просто рассыпался в труху. – Ох...

– Фиирт редко наступает так рано, тем более чтобы сразу, в один день ударили морозы... – Идо поежился. «Недобрый знак», – прочиталось в его глазах.

– Но это случается, – резонно напомнил Элеорд, отряхивая пальцы. Ему тоже не очень нравилось случившееся, но он старался себя в этом разуверить. Все-таки не мертвые медузы. Не так и страшно. – Вирра-Варра – довольно озорная богиня.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.